

Джон Холт

**ПРИЧИНЫ
ДЕТСКИХ
НЕУДАЧ**

«Кристалл»
Санкт-Петербург
1996

Джон Холт

Причины детских неудач / Пер. с англ. — СПб: «Кристалл», «Дельта», 1996. — 448 с.

ISBN 5-85366-016-0

Эта книга — размышление и поиск ответов на поставленные вопросы. Она началась с небольших записей, адресованных Биллу Халлу по поводу наблюдений над детьми его пятого класса.

Весь материал сгруппирован и разделен на четыре главы: «Стратегия», «Страх и неудачи», «Обучение всерьез» и «Недостатки современной школы». Данные четыре главы не изолированы друг от друга, а взаимосвязаны и составляют единое целое. Вся книга — это нетрадиционный взгляд на мысли и поведение детей в школе.

Издание осуществлено совместно с фирмой «Дельта»

ISBN 5-85366-016-0 © John Holt, 1964

© «Дельта», 1996 © Оформление серии «Дельта», 1996

Трудно порекомендовать более достойную внимания книгу всем, кого волнуют вопросы детского воспитания и учебы.

«Нью-Йорк Таймс»

Если бы мы учили детей говорить, они остались бы немыми.

Уильям Халл

Думай образами, но не словами...

О. У. Холмс-младший



ОТ АВТОРА

У меня, как у любого автора, долгов больше, чем я в состоянии оплатить или хотя бы рассказать о них. Тем не менее я хочу поблагодарить хотя бы некоторых людей, сыгравших крайне важную роль и в появлении этой книги, и в рождении заложенных в ней идей. Я многим обязан и сердечно благодарен, во-первых, Роберту Каннингему, моему учителю английского в Экзетере, любившему повторять: «Определенность — иллюзия, и человеку не пристало искать покоя», открывшему мне возможность сомнений и перемен; во-вторых, Джону и Энн Хольден, директорам школы в Колорадо Роки Маунтин, а также Мэри Райт, директору школы Лесли-Эллис, выделившей мне классы для обучения и позволившей учить детей так, как я считал необходимым, пусть с ошибками, но извлекая уроки из собственных ошибок; в-третьих, Пегги Хьюз, убедившей меня, наконец, превратить мои записки в книгу, и моей сестре Джейн Питчер, от которой я много узнал о маленьких детях, и Биллу Халлу, заставившему меня внимательно взглянуть на класс и понять, что на самом деле происходит в нем и в головах детей, которых я пытался «учить»... Но больше всего я благодарен самим детям, поделившимся со мной гораздо большим, чем я смог поделиться с ними.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большинство детей в школе плохо учится. Для многих из них неуспеваемость предопределена и абсолютна. Около сорока процентов учащихся средних школ из-за неуспеваемости выбывает до окончания обучения, в колледже — каждый третий.

Многие из оставшихся также фактически не справляются с программой, хотя и получают документ о среднем образовании. Они заканчивают обучение лишь потому, что мы согласились «продвигать» их из класса в класс независимо от знаний. Таких детей гораздо больше, чем мы предполагаем. Если бы мы «подняли наши стандарты» (а многие хотели бы этого), то весьма быстро увидели бы, как много у нас отстающих детей, которые не способны справиться с экзаменами для перехода в следующий класс.

Есть еще очень важная сторона обучения, где почти все дети терпят неудачу: мало кому удается развить в себе хотя бы крошечную частицу из гигантской способности к обучению, постижению и созиданию, с которой они родились и которую использовали с полным размахом в первые два-три года своей жизни.

Почему же дети плохо учатся?

Одни отстают потому, что боятся, другие — потому, что испытывают скуку и третьи сбиты с толку.

Больше всего дети боятся подвести, разочаровать или рассердить окружающих их взрослых, чьи безграничные надежды висят над головами детей, подобно туче.

Детям скучно, потому что школьные предметы преподают им слишком тривиально и серо, и преподаватели не имеют возможности выйти за рамки ограниченных требований на широкий спектр ума, способностей и таланта детей.

Они сбиты с толку, потому что в потоке обрушивающихся на них в школе слов мало смысла. Высказывания нередко противоречат друг другу, и знания, полученные в школе, вряд ли могут что-то добавить к пониманию окружающей их жизни.

Каковы причины массовой неуспеваемости?

Что на самом деле происходит в классе? Кто эти отстающие дети? О чем они думают? Почему не используют рациональнее свои способности?

Эта книга — размышление и поиск ответов на поставленные вопросы. Она началась с небольших вечерних записей коллеге и другу Биллу Халлу по поводу моих наблюдений над детьми его пятого класса. Позже эти записи-наблюдения были отосланы заинтересованным педагогам и родителям. Они и составляют данную книгу. Я мало что изменил в моих записях при подготовке к

изданию, но сгруппировал по темам и разделил их на четыре главы, названные «Стратегия» (гл. 1), «Страх и неудачи» (гл. 2), «Обучение всерьез» (гл. 3) и «Недостатки современной школы» (гл. 4). «Стратегия» рассказывает о способах уклонения школьников от требований учителей; «Страх и неудачи» — о взаимозависимости страха и неуспеваемости у детей, о воздействии страха на стратегию и учебу. «Обучение всерьез» — о разнице между предположительными знаниями детей и реальными. В главе «Недостатки современной школы» анализируются причины порочных установок школ, дающих, как правило, фрагментарные, искаженные и недолговечные знания, не отвечающие интересам детей.

Данные четыре темы не изолированы друг от друга, а взаимосвязаны и составляют единое целое. Вся книга — это нетрадиционный взгляд на мысли и поведение детей в школе.

Следует подчеркнуть, что объектом наблюдения и изучения были не слабоумные дети, а дети с нормальными интеллектуальными способностями из частных школ высочайших стандартов и репутаций. За небольшим исключением, дети, о которых здесь сказано, даже выше среднего интеллекта и по уровню подготовки соответствуют «хорошим» средним школам и колледжам. Друзья и коллеги, понимающие мои мысли о порочном воздействии современного обучения на характер и интеллект детей и посетившие гораздо большее количество школ, чем я, уверяют, что описанные мною школы не хуже и не лучше тех, которые мне не довелось посетить.

Текст, выделенный курсивом, добавлен в переиздание книги — 20 лет спустя.

Глава 1.

СТРАТЕГИЯ

13 февраля 1958

Я постоянно возвращаюсь мыслями к Нелл. Сегодня мы говорили с ней о дробях, мне показалось, что ее разум отвергает понимание. Так ли это необычно? Дети сопротивляются пониманию, даже не делая попыток понять чаще, чем, сначала улавливают мысль и тут же отбрасывают прочь. Может, именно так и поступает Нелл? Несколько раз она всерьез пыталась следовать за моими разъяснениями, и довольно долго. Однако когда мне казалось, будто она вот-вот поймет главную мысль, девочка качала головой и говорила: «Я не понимаю». Может быть, у ребенка есть врожденный интерес к неудаче? Неужели это так? Марта, играя в числа, нередко поступает так же. Она не понимает, не хочет понять и не слушает ваши объяснения, а потом заявляет: «Я совсем запуталась».

Быть может, это связано со стратегиями разного типа учеников — «производителя» и «мыслителя». Мы пользуемся словом «производитель» для характеристики ученика, заинтересованного лишь в выдаче правильных ответов и применяющего для этой цели удачно или неудачно правила и формулы. «Мыслителем» мы называем ученика, пытающегося думать над значением задания и анализировать его. Желание дать ответ «с наскоку» приводит к тому, что ученик часто «промахивается», затем впадает в пораженческое настроение, поскольку не знает, что ему делать. «Мыслитель» более готов к усилиям.

Удивительно слышать, когда малыши называют себя глупыми. Мне казалось, что такого рода ощущения должны приходить в более старшем возрасте, но, очевидно, я ошибался.

Сегодня моя «комнатная группа» неплохо провела игру чисел. В определенные дни две трети учеников уходили на творческие уроки, а остальные оставались со мной на «комнатные занятия» — особые уроки, изобретенные Биллом Халлом. Мы встречались в небольшой комнате рядом с классным кабинетом. Мы играли там в различные интеллектуальные игры, решали головоломки и проводили дискуссии по теме, максимально приближенной к школьной программе. В этот раз мы играли в игру «Двадцать вопросов» — когда учитель задумывает число, а ученики пытаются отгадать его, задавая наводящие вопросы; причем учитель может отвечать только «да» или «нет». Лаура постоянно задавала неудачные вопросы. Тем не менее несколько раз ей везло: ее выбор падал на небольшой промежуток цифр — до трех-четырёх, и она просто угадывала число. Один раз она объявила число с

первой попытки, при выборе из двенадцати чисел. Удачи воодушевили Лауру, она почувствовала себя победителем дня. Ее примеру последовали другие. Мэри вдруг пришло в голову, что она ясновидящая, и она пыталась отгадывать числа с первой попытки. На некоторое время эта стратегия увлекла остальных членов команды, и они потеряли на этом четыре «раунда». Спустя некоторое время они вернулись к стратегии постепенного выхода на требуемое число.

В целом дети были внимательны и хорошо работали в команде, хотя и не часто отгадывали задуманное число за одну попытку. К примеру, зная, что число находится между 250 и 300, они задавали вопросы типа: «Оно между 250 и 260?» — боясь рискнуть задать вопрос поконкретнее.

Нэнси играла хорошо, но когда напряжение в игре достигло для нее верхнего предела, ее мозг просто перестал работать. Она не разволновалась, как Нелл или Марта, и не пустилась в фантастические догадки; она просто не знала, что сказать, и прибегла к молчанию. Безопасная стратегия.

18 февраля 1958

Интеллект — это тайна. Говорят, большинство людей может использовать лишь небольшую часть своих потенциальных способностей. Если провести аналогию с двигателем — мы задействуем собственный двигатель примерно на 10 процентов от его мощности. Почему не более? И как ухитряются некоторые «прибавить обороты» до двадцати—тридцати процентов или даже больше?

Я вплотную занимался этой проблемой последние четыре года, работая в школе Колорадо Роки Маунтин. Вначале я думал, что некоторые люди просто рождаются более умными, чем другие, и с этим вряд ли что-либо можно сделать. Похоже, эта точка зрения — официальный подход большинства психологов. В это легко поверить, если все ваши контакты с учениками происходят в классе или тест-кабинете психолога. Но если вы живете при школе и имеете возможность наблюдать за учениками и в классе, и в общежитии, в частной жизни, на отдыхе и во время физического труда, то приходите к выводу, что многие неуспевающие проявляют острый ум в определенных ситуациях. Почему? Почему мальчик или девочка в каких-то обстоятельствах проявляют себя сметливыми, наблюдательными и склонными к анализу (одним словом, *толковыми*), когда же приходят в класс, словно по волшебству, превращаются в полнейших тупиц?

Самый слабый ученик, с которым мне довелось столкнуться, вне классной комнаты был достаточно умным и интересным мальчуганом, не хуже многих в этой школе. Что же с ним случилось? Специалисты нашептывали его родителям о повреждении мозга — удобный способ раскрыть тайну, которую вы не можете объяснить. Где-то посреди «маршрута» его интеллект рассоединился с обучением. Когда? Почему?

В этом учебном году у меня было несколько слабых учеников. За год я выставил неудовлетворительных оценок больше (в основном по французскому

и алгебре), чем остальные учителя школы вместе взятые. Ей-богу, я прилагал все старания, чтобы перевести их в следующий класс. Перед каждой контрольной мы проводили серию общих практических занятий, называемых «обзор». Если ученики не справлялись с нею, мы разбирали ошибки, затем снова следовали практические занятия и — «косметический» тест (всегда легче первого), который дети обычно снова проваливали.

Одно время мне казалось, что я понял, как справиться с этой проблемой: во-первых, нужно сделать работу интересной, а классную комнату — привлекательным и вдохновляющим местом (частично это оправдалось: многие неуспевающие ученики действительно полюбили мои занятия); во-вторых, заставить детей превозмочь страх признаться, что им кое-что непонятно, и продолжать объяснять до тех пор, пока они не поймут; в-третьих, нужно оказывать на них постоянный и решительный нажим. Так я и поступил. Результат: хорошие ученики остались таковыми, возможно, некоторые показали большие успехи, чем раньше, но плохие ученики остались плохими, а некоторые из них, казалось, стали учиться еще хуже. Если они были неуспевающими в ноябре, они продолжали оставаться таковыми и в июне.

Должно быть найдено правильное решение этой проблемы. Это возможно лишь в том случае, если в первую очередь мы сможем предотвратить хронические неудачи детей.

24 февраля 1958.

Наблюдения в классе Билла Халла

Сегодня во время занятий трое или четверо учеников подошли к вам за помощью. Все они неправильно решили вторую математическую задачу. Ни один из них не слушал, когда вы объясняли ее у доски. Я следил за Джорджем, занимавшимся во время объяснения тем, что пытался расширить и заткнуть дырочку сбоку парты своим карандашом. Он с возмущением отрицал это, но я показал ему дырку, и он смолк. Джеральд уплыл в страну мечтаний; в мечтания ушла и Нэнси, хотя она быстро очнулась, когда ей был задан вопрос. Необычно для Нэнси. Джон слушал вполуха, так же и Лаура. Марта развлекалась, превратив свою руку в зверька и заставляя его ползти по парте.

Наблюдая за тем, как дети работают или пытаются работать, я постепенно понял, что они сами не замечают, когда непроизвольно отвлекаются. Когда, окликнув мечтателя по имени, я возвращаю его на место, он всегда испуган, но не потому что надеялся, будто я не замечу его рассеянность, а потому что отвлекся незаметно для себя.

Я тоже с трудом преодолеваю сонливость, иногда лишь причинив себе ошутимую боль. В полусонном состоянии мозг устраивает забавные шутки. Помню из собственного школьного опыта, как засыпал, убаюканный голосом учителя. «Сторож», прячущийся в моем мозгу, в ответственные минуты требовал: «Не смей спать, балбес!», и эта фраза будила меня, едва учительский

голос начинал пропадать. Но ту часть мозга, которой требовался сон, не так-то легко было одолеть. Она «хитрила» (и «хитрит» до сих пор в подобных ситуациях); в момент засыпания ложный голос продолжает звучать в моей голове достаточно долго, и «сторож» не срабатывает. Постепенно в моей голове отложилось, что ложный голос либо говорит не по теме, либо несет чепуху — и таким образом можно распознать его. Много раз потом я клевал носом со звучащим к голове голосом, но «сторож» тотчас же давал сигнал: «Проснись! Этот голос ложный!»

Большинство из нас слабо контролирует свое внимание. Мы мысленно отвлекаемся от работы, едва ли замечая это. Одно из качеств, присущих хорошему ученику, — навык ощущать состояние своего мозга и степень усвоения материала. Хорошим учеником может быть тот, кто озадачивается тем, что не понимает, и пытается понять, задавая вопросы. Он делает это потому, что постоянно следит за процессом усвоения. Плохой ученик, то есть не желающий или не способный следить за своими усилиями понять, почти всегда не может сказать, понимает он материал или нет. Следовательно, проблема для нас не в том, чтобы просто заставить учеников задавать вопросы, а в том, чтобы они осознали границу между тем, что они знают и понимают, а что нет.

Эти мысли напомнили мне Герба. На днях я понял, почему написанные им слова часто «сбегают» с листа бумаги. Когда он списывает слово, он копирует примерно по паре букв зараз, и я сомневаюсь, что он заглядывает дальше и сможет сказать вам, написав до середины, что за слово он пишет. Начиная списывать, он не утруждает себя даже посмотреть, насколько длинным оно будет и сколько может занять места.

21 апреля 1958

Я наблюдал за Рут во время контрольной по математике. По меньшей мере четыре пятых времени она смотрела в окно, играла с карандашом, покусывала ногти либо поглядывала на Нелл с целью получения какой-либо информации. При этом она не казалась хоть чуть-чуть озабоченной и ли смущенной. Создавалось впечатление, что она решает задачи не на контрольной, а на дополнительном уроке в пятницу, когда учитель придет на помощь, если что-то не получится.

Похоже, ситуация, в которой девочка не знала, что ей делать, настолько мучительна для нее, по Рут предпочитает не делать ничего, ожидая минуты, когда сможет попросить помощи в решении задачи. Даже на дополнительном уроке сегодня она ничего не делала. Рут пыталась украдкой вытащить что-то из своей парты. Она делала это довольно нервно, поэтому каждый раз, когда поднималась крышка парты, я замечал это и поглядывал на нее. Ей было весьма досадно за производимый шум, но она продолжала свои попытки почти весь урок, ничуть не стыдясь быть пойманной.

Помните, Эмили написала «mincopert», когда ее попросили написать «microscopic»? Это было недели две назад. Сегодня я написал «mincopert» на доске. К моему великому изумлению, она узнала свое словечко. Некоторые ребята, следя за тем, как я его пишу, удивленно спросили: «Что это означает?» Я сказал: «А вы как думаете?», и Эмили ответила: «Это должно быть “microscopic”». Но она ничем не показала, что именно она написала тогда «mincopert».

На проверочной работе по правописанию она написала «tearerfit» вместо «tariff». Сегодня мне снова захотелось испытать ее. На этот раз она написала «tearfit». Почему у нее так получается? Произнесенное учителем слово является для нее сигналом к действию. Она бросается писать без оглядки на то, что получается, подобно путнику, который бежит от страха сломя голову мимо кладбища в темную ночь.

Это напоминает мне отрывок из «Старинного Морехода» — возможно, лучшей на свете истории о привидениях:

*Как одинокий путник по дороге,
Бредет едва дыша от страха,
И, оглянувшись раз, другой уже не смеет,
Ведь позади него ужасный
Шагает дьявол по пятам...*

Не шагают ли точно так же некоторые дети по жизни?

8 мая 1958.

Записка в Исследовательский комитет

В этой школе, как и во многих, есть несколько академических комиссий — математическая, английская, историческая и др. На своих комиссиях педагоги обсуждают предложенные программы обучения. Этим деятельность школьных комиссий и ограничивалась. Билл Халл полагал, что учителя захотят иногда собираться, чтобы поговорить о проблемах обучения детей, о развитии их интеллекта на уроках, о причинах, препятствующих обучению, и предложил создать комитет, который назвали исследовательским. На первом собрании этого комитета присутствовало около дюжины педагогов. На второй встрече, когда прояснились темы, которые Билл хотел рассмотреть, их количество уменьшилось. После трех-четырёх встреч комитет пришлось ликвидировать, так как слишком мало учителей хотело продолжать эти дискуссии. Никто не возразил.

Я упомянул Эмили, написавшую «mincopert» вместо «microscopic». Очевидно, она сделала попытку ответить наугад и, записав слово, даже не взглянула, правильно ли оно выглядит. Я часто встречаюсь с такой

односторонней стратегией детей, типа «не оглядывайся, это слишком страшно». В поведении Эмили настолько ярко проявилась такая стратегия, что мне хотелось бы еще раз остановиться на этой теме.

Спустя несколько дней после проверочной работы я написал слово «*mincort*» на доске. Эмили и еще один ученик (прекрасно успевающий в правописании) сказали, что слово должно означать «*microscopic*». Всем, включая Эмили, это показалось очень забавным. Хотя Эмили относится к детям, мысли которых хорошо читаются во взгляде, голосе и жестах, но она не показала ни малейшего признака того, что ей знаком создатель слова «*mincort*». Весь ее вид и поведение говорили о том, что к ней это отношения не имеет: она не настолько глупа, чтобы написать такое слово.

Сегодня она подала мне лист-плакат, на который наклеила несколько анекдотов, вырезанных для нее подругой. Просматривая их, я обнаружил, что листок с последним анекдотом наклеен наизнанку и теперь прочесть можно лишь бессмысленный отрывок из газетных новостей. Меня удивило, что она даже не проверила, правильно ли наклеила. Когда плакат уже висел на стене и на него уже смотрели другие ребята, я сказал Эмили: «Тебе придется объяснить последний анекдот нам; мы не понимаем его». Я думал, она посмотрит, увидит, что это чепуха, и поймет, что наклеила его наоборот. К моему изумлению, девочка засмеялась и с полным безразличием заметила, что тоже не понимает его смысла. Оказывается, Эмили все-таки видела его и наклеивала, заведомо зная, что анекдот бессмысленный. Ей не пришло в голову, что она могла ошибиться и настоящий анекдот находится на обратной стороне.

Меня интересует способность детей мысленно рассматривать вещи с разных сторон. Однажды, на занятиях «комнатной группы», я попросил детей написать несколько слов, предварительно показанных им, а затем написать их в зеркальном отражении. Я обратил внимание детей на точное воспроизведение в них заглавных и строчных букв. Вначале я написал «CAT» («кошка»). Эмили написала «CAt». Ее не смутило, что две буквы были заглавные, а одна строчная — если она вообще это заметила. Эмили предположила, что в зеркальном отражении порядок букв будет обратным, и написала TaC. Маленькое «t» стало заглавным, а «A» — строчным. Следующее слово было «BIRD» («птица»). Девочка тут же забыла, как только что писала буквы в обратном порядке. На этот раз она предположила, что фокус — в обратном написании каждой буквы, но в сохранении первоначального их порядка. На своем листе она написала «BIRD». Она правильно повернула «B», написала «I», затем посмотрела на маленькое «r», показавшееся ей перевернутым «L», решила вернуть его на место и написала «L». Потом Эмили решила, что буквы «B» и «D» не следует переворачивать, и окончательным ее ответом было «BILD». Ответом на какой вопрос? Об этом девочка не имела ни малейшего представления. Первоначальное задание вылетело у нее из головы задолго до того, как она добралась до конца; оно превратилось в нечто, касающееся написания букв вверх ногами, наоборот или прочих фокусов.

Эта девочка *всегда* права. Эмили не в силах представить себе, что может ошибаться.

Если она ошиблась (как это часто случается), необходимо как можно быстрее забыть об этом. Разумеется, Эмили не скажет себе, что она не права: ей достаточно, когда указывают на это другие. Получив какое-то задание, она выполняет его быстро и с опаской, затем вручает «начальству» и со страхом ожидает волшебное слово — *правильно* или *неправильно*. Если звучит первое слово, девочке уже не нужно более думать об этой проблеме; если же звучит слово «неправильно», она все равно не хочет и не может заставить себя думать о задаче.

Страх вынуждает ее прибегнуть к иным стратегиям, которыми пользуются и другие дети. Девочка знает, что во время устного опроса внимание учителя поделено между двадцатью учениками. Она также знает стратегию учителя, задающего вопросы неуверенным или отвлекающимся ученикам. Следовательно, она чувствует себя в безопасности, помахивая рукой, будто ей не терпится поделиться ответом, независимо от того, знает она его или нет. Таков ее безопасный способ внушения мне, что она, по меньшей мере, знает о текущих событиях в классе. Когда кто-либо отвечает правильно, Эмили с жаром кивает. Иногда она даже осмеливается что-то добавить, хотя лицо ее и голос показывают, что она считает это рискованным. Интересно также отметить, что она не поднимает руку, пока кругом не замаячит как минимум дюжина других рук.

Иногда ее спрашивают. На днях был задан вопрос: «Чему равна половина от сорока восьми?» Рука Эмили поднялась, и она еле слышно прошептала: «Двадцати четырем». Я попросил ее повторить ответ, и она сказала громко: «Ответ равняется... — затем шепнула: — ...двадцати четырем». Я попросил ее повторить еще раз, потому что многие не расслышали. С напряженным лицом девочка произнесла очень громко: «Я сказала, что половина от сорока восьми... — затем очень тихо, — равна двадцати четырем». И все же многие ученики не расслышали. Тогда Эмили негодуя бросила: «Ладно, тогда я крикну». Я сказал, что не возражаю, и она убежденно выкрикнула: «Вопрос был, чему равна половина от сорока восьми! Верно?» Я согласился. И снова она пробормотала еле слышно: «Двадцати четырем». Я так и не смог убедить Эмили, что она выкрикнула вопрос, но не ответ.

Конечно, такая стратегия зачастую оправдывает себя. Задающий вопрос педагог готов услышать верный ответ, он настроен на него, поскольку верный ответ подтвердит правильность его обучения и подскажет, что можно перейти к следующей теме. Педагог предположит, что любой похожий на верный ответ и означает правильное решение. Поэтому лучший шанс для не уверенного в ответе ученика — в том, чтобы пробормотать его. Если он не уверен, пишется ли в слове «а» или «о», он пишет букву, которую можно принять либо за одно, либо за другое.

Стратегия «бормотания» особенно эффективна на занятиях иностранным языком. На моих уроках французского ученики применяли ее на мне, и я даже

не подозревал об этом. Она особенно действенна в общении с крайне требовательным к произношению педагогом, гордящимся своим собственным произношением. Заставить такого учителя ответить на свой же вопрос — пара пустяков. Нужно лишь пробормотать нечто ужасно искаженное и далекое от французского языка, чтобы учитель, содрогнувшись, произнес правильный ответ на элегантно французском. Ученику придется повторить его следом за учителем, но к этому времени худшее для него позади.

Теоретики игр придумали название стратегии, максимально увеличивающей ваши шансы на победу и сводящей к минимуму вашу потерю, если вам суждено проиграть. Они называют ее «минимакс». Дети прекрасно отыскивают такого рода стратегии. Они всегда находят способы выйти из трудного положения. Недавно во время занятий «комнатной группы» мы работали с балансиrom. Деревянный брусок, или балансир, размечен через равные промежутки и установлен на оси в средней точке. Брусок можно замыкать в равновесии с помощью штифта. Мы кладем груз на определенное место по одну сторону бруска, затем даем ученику другой груз, может быть, такой же, а может быть, потяжелее или полегче, и он должен поместить его по другую сторону бруска так, чтобы в незафиксированном состоянии балансир оставался в равновесии. Пока ученик размещает свой груз, другие члены группы поочередно высказываются по поводу того, удержится балансир в равновесии или нет.

Как-то настала очередь Эмили помещать груз, и после долгого раздумья она поместила его неправильно. Один за другим члены группы высказались за то, что равновесия не получится. Слушая их, она все более сомневалась в своем выборе. Наконец, когда все высказались и девочке нора было отомкнуть балансир, она огляделась и весело сказала: «Лично я тоже думаю, что равновесия не будет». Трудно передать ее интонацию: она полностью дистанцировалась от той глупой ученицы (кем бы она ни была), поместившей груз на такое неподходящее место. Когда Эмили вынула штифт и балансир размашисто закачался, она почти почувствовала себя отомщенной. Большинство детей не уверено в своем выборе, но мало кто не испытывает при этом стыда, а кое-кто даже полагает, что недостаток настойчивости в своих убеждениях сродни бесчестью.

Вижу, что ошибался в объяснении того, как Эмили относится к заданиям. При получении заданий — написать «microscopic», или слово наоборот, или уравновесить груз — в ее мозгу, скорее всего, мелькают мысли вроде таких: «Эти учителя хотят, чтобы я кое-что сделала. Я не имею ни малейшего понятия об их задании, и вообще, зачем они ко мне пристали? Но я сделаю что-нибудь, и тогда, быть может, они оставят меня в покое».

10 мая 1958

Дети нередко весьма откровенны насчет стратегий, которыми они пользуются, чтобы получить ответы от учителя. Однажды я наблюдал за

классом при проверке учительницей знания частей речи. На доске у нее были нарисованы три колонки, озаглавленные: Существительное, Прилагательное и Глагол. Назвав очередное слово, учительница вызывала ребенка и спрашивала, в какую из колонок его следует определить.

Подобно большинству педагогов, она не слишком задумывалась о фактическом осуществлении своего замысла, в том числе о том, что многие слова могут относиться не к одной колонке и что зачастую принадлежность какого-либо слова к части речи определяет способ его применения.

Существует множество испытанных школьных стратегий типа «скажи и посмотри», когда ученик начинает произносить слово, пристально изучая лицо учителя, чтобы догадаться, на верном он пути или нет. Для многих учителей этой стратегии достаточно. С этой учительницей данная стратегия не проходила, поскольку ее лицо было непроницаемым, как у игрока в покер. И все же процент верных «попаданий» был слишком высок, потому что по поведению и речи детей мне было ясно, что они имеют слабое понятие о существительных, прилагательных и глаголах. Наконец одна девочка не выдержала и сказала: «Мисс, не нужно каждый раз подсказывать ответ». Учительница удивилась и попросила пояснить. Ученица сказала: «Вообще-то вы не то чтобы *подсказываете*, но как бы стоите рядом с ответом». Ни учительница, ни я не поняли объяснение. Но через некоторое время, наблюдая за работой класса, я увидел, что имела в виду ученица. Поскольку учительница записывала каждое слово в определенной колонке, она готовилась занести его, нацеливаясь на место, где собиралась записывать. Наблюдая за положением ее тела по отношению к доске, дети получали незримый ключ к правильным ответам.

Но это было не все. После заполнения в очередной строке каждого третьего слова ее три колонки становились одинаковыми, то есть в них оказывалось одинаковое число существительных, прилагательных и глаголов. Это означало, что, когда учительница начинала новый ряд, у отвечающего был один шанс из трех попасть наугад на верный ответ, для следующего слова шанс становился один из двух, а последнее слово вставлял очередной удачливый ученик. Почти никто из детей не упускал этого шанса; они отвечали так быстро, что учительница (сообразительнее многих коллег) заметила свою оплошность и начала выстраивать колонки неравномерно, что слегка усложнило задачу маленьким стратегам.

На этом занятии был дан также пример тех бессмысленных пояснений, которые лишь сбивают с толку и смущают вдумчивого ребенка, пытающегося вникнуть в его суть. Учительница, специальностью которой, кстати, был английский, сказала детям: «Глагол — это слово, характеризующее действие», — что не всегда соответствует истине. Одним из заданных ею слов было «dream» («мечта», «мечтать»). При этом она подразумевала существительное, очевидно, забыв, что «dream» легко может быть и глаголом. Один мальчуган высказал догадку, что это глагол. Учительница, желая помочь, поделилась одной из «подсказок», скорее сбивающих с толку, чем оказывающих помощь.

Она сказала: «Но глагол должен иметь действие; ты можешь придумать фразу, в которой слово “dream” действует?» Малыш немного подумал и сказал: «Я мечтал очутиться на Троянской войне». Трудно придумать более «действенную» мечту, но учительница сказала, что он ошибся, и мальчуган сел совершенно сконфуженный. Она так увлеклась мыслями о том, что ей хотелось от него услышать, и столь страстно желала получить *правильный ответ*, свербящий у нее в мозгу, что не могла по-настоящему оценить его слова и мысли, увидеть логичность и разумность обоснования его ответа и понять, что ошиблась она, а не он.

На днях я наблюдал, как учитель не видит, что происходит в его собственном классе.

Был урок математики. Учитель, опытный человек, выполнял задание на доске. Для привлечения внимания детей к работе он задавал разным ученикам вопросы с каждым выполняемым действием: «Это правильно?» Урок был скучный, и мне трудно было сосредоточиться. Мне казалось, что большинство учеников думают о чем угодно, кроме работы, оставляя мысленного «сторожа», чтобы тот предупредил их, когда окликнет учитель. Очередной мальчик получал этот вопрос и отвечал «да». Урок уныло продолжался, и постепенно я совершенно отключился. Не знаю, сколько это длилось, но неожиданно что-то пробудило мое внимание. Я посмотрел на учителя; все мальчики в классе тоже смотрели на него. Получивший обычный вопрос ученик также внимательно смотрел на доску. Чуть помедлив, он произнес: «Нет, сэр, это неправильно, тут должно быть так-то и так-то». Учитель одобрительно усмехнулся и сказал: «Ты прав, тут нужно исправить». Он сделал поправку, весь класс и я вновь задремали до самого конца урока.

Когда мальчики ушли, я поблагодарил учителя за позволение присутствовать на уроке. Он сказал: «Вы заметили, как я подкинул им маленькую “липу”? Я делаю это время от времени, это заставляет их быть внимательными». Я пробормотал что-то одобрительное. Пожалуй, было не место и не время говорить ему, что, когда он подбрасывал «липу», его голос настолько изменялся, что это настораживало не только мальчиков, но и совершенно постороннего человека и все догадывались о подвохе.

Вскоре после выхода этой книги меня пригласил на встречу преподаватель электротехнического факультета выпускного класса при МТИ (Массачусетском технологическом институте), профессор. Он сказал, что, прочитав книгу, понял: все десять лет, в течение которых он преподает здесь, учащиеся использовали в общении с ним описанные в моей книге стратегические уловки: бормотание, скажи наугад и последи за реакцией, заставь учителя ответить на собственные вопросы и т. д.

Позже я понял, что это — общие игры, в которые играют все люди, когда прочие сидят «за полем» и оценивают их действия.

7 июля 1958

Недавно я перечитывал записи, относящиеся к прошедшей зиме и весне. Довольно любопытное и обескураживающее занятие, связанное с пересмотром своего мнения по предмету, относительно которого уже сложились твердые убеждения. Не кто иной, как я, говорил и писал о необходимости постоянно оказывать на детей давление. И вот сейчас я прихожу к мысли, что именно ощущение, что они должны во что бы то ни стало угодить взрослым, загоняет детей в узкие рамки защитных стратегий. По-настоящему способные «мыслители» в нашем классе — это, без исключения, дети, не ощущающие насущной необходимости угодить взрослым. Некоторые из них — хорошие ученики, некоторые — не слишком успевающие, но в любом случае они работают не с целью доставить удовольствие нам, а ради себя.

Возьмем, к примеру, Уолтера. Он с жаром делает все, что от него хотят, и делает это прекрасно. (По общепринятым стандартам он считался очень способным учеником, настолько, что его даже называли «блестящим», хотя это определенно не так.)

Была дана задача: «Если вы едете со скоростью 40 миль в час, сколько времени вам понадобится, чтобы проехать 10 миль?»

Уолтер. 4 минуты.

Д. Х. (я). Как ты это подсчитал?

Уолтер. Поделил 40 на 10.

Он быстро взглянул на мое лицо и понял, что этот вариант не годится. Немного подумав, он написал: «15 минут». Мне хотелось понять ход его мысли.

Д. Х. Если ты едешь со скоростью 50 миль в час, сколько ты проедешь за 24 минуты?

Уолтер (быстро). 36 миль.

Д. Х. Как ты подсчитал?

Уолтер. Вычел 24 из 60.

Он так и не понял задачи. Я попытался снова.

Д. Х. Если ты едешь со скоростью 50 миль в час, на сколько ты продвинешься за 30 минут?

Уолтер. На 25 миль. 30 минут — это полчаса, а половина от 50 равна 25.

Наконец мне показалось, что он понял суть задачи. Я решил, что теперь у него не будет проблемы с 24 минутами. Но мне пришлось потратить немало времени и намеков, прежде чем он понял, что 24 минуты составляют $\frac{2}{5}$ от часа и, следовательно, он проедет $\frac{2}{5}$ от 50 миль, или 20 миль за 24 минуты. Нашел бы он решение, если бы я не «вымости́л» ему путь наводящими вопросами, трудно сказать.

Большинство педагогов предположили бы, как я однажды, что, получив задачу с 15 минутами, мальчик понял бы ее суть. Даже скептика можно было

бы убедить, когда Уолтер дал объяснение о 30-минутной задаче. Но в каждом случае он показал, что не понимал задачу по-настоящему, и у меня нет уверенности, что он понял ее сейчас.

В чем заключалась его стратегия в этом эпизоде? Разумеется, он «подсовывал числа». Более того, он сочинял довольно убедительно звучащее объяснение процессу своего решения. В варианте задачи со скоростью движения 50 миль в час вряд ли ученик лишь «подсовывал слова» заодно с «подсовыванием чисел». Объяснение показалось мне разумным, потому что в этом случае способ Уолтера «подсовывать числа» совпал с решением, однако мальчик был удовлетворен собственными объяснениями и тогда, когда шел неверным путем.

Это беспокоит. Мы говорим и верим, что в школе учим детей понимать суть математических действий. Каким образом? Объясняя то, что они делают, и требуя, в свою очередь, объяснения от них. В восприятии ребенка это требование выглядит так, как понял его Уолтер, упрощенно: в школе необходим не только верный ответ, но и верные слова. Итак, мы убедились на его примере: успевающий ученик может выдать ответ вместе с объяснением, также не имея ни малейшего понятия о том, что делает или говорит.

Кстати, я рассказал здесь о частной школе для высокоинтеллектуальных детей влиятельных и тщеславных родителей, которая, несмотря на ее радикальное прошлое и «прогрессивную» репутацию, вернулась в настоящее время к традиционным основам.

25 июля 1958.

Наблюдения в классе Билла Халла

Из многообразного опыта, приобретенного за последние полгода, хочется выделить следующий момент. Я понял, что мнение учителя о происходящем в классе не совпадает с действительностью — и определенно с моим представлением о жизни класса. Работая в школе много лет, я имел возможность создать себе картину, в рамках которой умещался мой класс. Мне казалось, что я, в общем, знаю, чем занимаются ученики, о чем думают и что чувствуют. Теперь я вижу, что моя картина реальности почти полностью была придумана мной. Почему же я не видел этого раньше?

Сидя в классе и наблюдая со стороны за ребятами с желанием понять, каковы они и чем отличались от детей, с которыми я работал и которых знаю, я постепенно кое-что обнаружил. Невозможно узнать, что делает ребенок на уроке, если смотреть на него лишь, когда его вызывает педагог. Необходимо понаблюдать за ним, хотя бы какое-то время, незаметно для него.

На многих опросных занятиях, когда предполагается, что класс работает единой командой, большинство детей, как правило, почти не участвует в происходящем. Обычно те, кому более других необходимо быть внимательными, проявляют наибольшую небрежность. Дети, знающие ответ на

любой вопрос, обязательно дают вам знать об этом и постоянно тянут руки. К тому же, зная правильный ответ, они получают удовольствие от нелепых ответов своих менее удачливых коллег. Но, как и во всех классах, таких способных учеников меньшинство. Как же ведет себя неуспевающее меньшинство? Внимание этих учеников зависело от происходящего в классе. Любой эмоциональный всплеск заставлял их настораживаться. Если разгорался спор либо кто-то попадал в неприятное положение, а то и подвергался высмеиванию за глупый ответ, они в этом участвовали. Если учитель объяснял ученику-тугодуму что-то настолько простое, что все давно поняли, они оживлялись и вместе со всеми покатывались со смеху. Но во время объяснений, опроса или дискуссии большинство детей почти или совсем не обращало внимания на происходящее. Кто-то мечтал, и никакие окрики и стук по столу (на радость остальным) не способны были привлечь их внимание. Другие писали, передавали друг другу записки, шептались или переговаривались на языке жестов, машинально рисовали каракули в тетрадах или забавлялись посторонними предметами.

Они продолжали отвлекаться на что угодно, как бы часто ни ловили их за этим занятием, потому что класс, несмотря на наши усилия сделать его интересным и привлекательным, воспринимался ими как скучное и опасное место, откуда им всегда хочется сбежать, но невозможно. Их фантазии — единственный способ убежать отсюда.

Пожалуй, педагог вряд ли может что-либо с этим поделать, если он действительно учит, а не просто поддерживает в классе тишину и загружает его работой. Учитель в классе — все равно что путник в ночном лесу с фонарем в руке. Когда он включает фонарь, ночные существа, освещенные лучом фонаря, ведут себя уже не так, как вели в темноте. Следовательно, достаточно лишь следить за детьми, чтобы их поведение значительно изменилось. Тот, кто светит фонарем только куда хочет, никогда не сможет узнать как следует ночную жизнь леса.

Итак, в классе учитель может сосредоточить свое внимание то на одном, то на другом ученике, а то и на всех вместе: дети чувствуют, когда внимание учителя направлено на них, и ведут себя не так, как вели бы, будь он занят чем-то другим. Однако надолго охватить своим вниманием весь класс и каждого ученика учитель не в состоянии. Сосредоточившись на работе одного ребенка, на его вопросах или увлекшись собственными пояснениями, учитель не может видеть и знать, чем заняты остальные ученики. Заметив, что кто-то занимается посторонними делами, он приказывает им прекратить отвлекаться. Дети знают, что им необходимо лишь немного подождать, пока он продолжит ведение урока. Посторонние классные наблюдатели, похоже, не замечают этого. Но почему? Возможно, потому что не остаются в классе на долгое время, и дети ведут себя скованно в их присутствии. Но даже те, кто проводит с классом достаточно времени, делают ошибку, уделяя большую часть своего внимания учителю, а не детям. Будущие педагоги на учебной практике подолгу бывают в одном классе, но им кажется, что, только наблюдая за педагогом, они усвоят

навык обучения, смогут уловить тонкости манипулирования детьми; они наблюдают *мастера за работой*. Поэтому и на детей практиканты смотрят глазами учителей и, разумеется, теряют большую часть ценного опыта.

Необходимо в школе создать такую практику, когда опытные педагоги работают вдвоем в одном классе, обучая и наблюдая за детьми, думая и делая друг с другом увиденным и услышанным. Из-за финансовых затруднений школы не могут позволить себе такую роскошь: они едва способны платить одному учителю в каждом классе. Такое предложение могли бы поддержать общественные фонды. Однако похоже, что они готовы в любой миг потратить миллионы долларов лишь на грандиозные проекты, производящие в основном паблисити и докторские диссертации. Им, возможно, покажется, что не стоит тратить деньги на то, чтобы в классе появилось двое учителей, хотя бы даже знающих детей гораздо лучше, чем другие преподаватели. Они, по-моему, ошибаются. Задумавшись над опытом, полученным в результате работы с детьми в классе Билла Халла в нынешнем году, я понял, что сделал для себя много открытий о работе детей, их поведении и мыслях, при этом мне открылись новые перспективы знаний и осмысления в области школьного обучения.

*Из сказанного можно извлечь много полезного и для учителя, работающего в одиночку в классе. Полученный опыт я все чаще учитывал в своей преподавательской деятельности, наряду с советами Джеймса Герндона в его книге «Как выжить на своей родине». Этот опыт я формулирую в виде требований к учителю. Педагог в первую очередь должен постараться **приготовить место** — физическое, интеллектуальное и эмоциональное пространство, — в котором ученики получают хорошую возможность вести сравнительно интересную жизнь. Затем главная задача учителя — **увидеть, чем занимаются ученики в этом пространстве**. В «Цезаре и Клеопатре» Дж. Б. Шоу Цезарь приказал королеве узнать, чего хотят ее служанки, а когда она спросила, зачем это нужно, он ответил: «Чтобы ты узнала их получше». Вот именно.*

*Нам как раз и нужно узнать наших учеников получше, и лучше всего можно достичь этого не с помощью их личных дел, заполненных псевдонаучными психологическими диагнозами и длинными списками их недугов, а давая ученикам определенную свободу мысли, речи и действий, насколько позволено в школе, а затем изучив их поступки. Если мы смотрим на детей только затем, чтобы увидеть, выполняют ли они требуемое, мы, скорее всего, не заметим интереснейшие и важнейшие черты их характера. Такова одна из причин того, что многие школьные учителя, даже обладая многолетним опытом, крайне плохо разбираются в детях. Родители, обучающие детей дома, как правило, справляются с этой работой лучше, поскольку у них есть время — и желание — **узнать** своих детей, их интересы и «сигналы», которыми они показывают и выражают свои эмоции. Только освободив себя от традиционных задач педагога — присмотра, контроля и*

роли арбитра, — смогут учителя узнать о своих учениках достаточно, чтобы принести им как можно больше пользы.

Когда я, не задаваясь какими-то особыми целями, просто стал уделять гораздо больше времени своим ученикам в течение школьного дня, я постепенно расширил свои знания о них, их жизненном опыте, мыслях и интересах, в результате чего смог увидеть некоторые возможности превращения классного кабинета в более полезное для них место. **Они научили меня, прежде чем я смог начать обучать их.**

Например, из разговора одной ученицы с подругой я узнал, что она любит лошадей, и смог помочь решить ее «читательскую проблему», ненавязчиво подсунув ей экземпляр «Национального Бархата». Книга понравилась ей, как я и надеялся, а ее любовь к этой истории и ее персонажам пробудила в ней желание и силу превозмочь ее «читательскую проблему», состоящую из опасения и стыда, что она **не может** научиться читать.

27 июля 1958

В течение года мне стало ясно, что все ребята относятся к обучению исключительно как к ежедневным и почасовым заданиям, которые необходимо выполнить. Но педагог смотрит на это совсем иначе. Добросовестный учитель видит свое предназначение в том, чтобы вести своих учеников (по меньшей мере часть пути) по дороге к блестящей цели, достойной тягот путешествия. Если он обучает истории, он думает о том, как интереснее и с пользой рассказать о предмете, и с радостью делится с ними своими знаниями. Если он преподает французский, он думает о всемирной славе французской литературы, красоте французской речи, наслаждении французской кухней и о том, как свои знания и любовь передать ученикам в доступной форме. Так же думают и другие учителя.

Желая научить детей, преподаватели исходят из факта, что их интересы и интересы учеников в основе своей совпадают. Когда-то и я считал, что сопровождаю учеников в страну знаний и помогаю им совершить путешествие, к которому они стремятся, но не могут осилить без моей помощи. Я понимал, что путь тяжел, но полагал, что они видят цель столь же четко, как и я, и также горят желанием достичь ее. Мне казалось очень важным внушить ученикам ощущение путешествия к достойной цели. Теперь вижу, что большинство моих увещаний в этом духе было напрасным с отрясай и ем воздуха. *Мне* казалось, будто ученики находились в моем классе, потому что жаждали научиться тому, чему я пытался их учить, — но они-то считали иначе. Они были в школе, потому что обязаны учиться, а очутились в моем классе случайно, могли бы оказаться в любом другом, возможно, худшего качества.

Дети в школе — все равно что дети у врача. Он может до посинения болтать о чудесном воздействии своего лекарства, но дети при этом будут

думать лишь о боли, которую им могут причинить, либо о противном вкусе лекарства. Дай им волю — и к врачу их силой не затащишь.

Поэтому на деле доблестный и решительный отряд путешественников, который, как мне казалось, я вел к долгожданной цели, оказался не более чем группой каторжан, цепочкой скованных друг с другом, вынужденных под страхом наказания двигаться к неизвестной для них цели по неровной тропе, едва просматривающейся впереди. Дети воспринимают школу как место, куда *они* (учителя) заставляют их ходить, где *они* заставляют их чем-то заниматься и где *они* пытаются причинить им всевозможные неприятности, если дети не занимаются или занимаются плохо.

Дети свою главную задачу в школе видят не в обучении (что бы это неопределенное слово ни означало), а в своевременном выполнении ежедневных заданий — по возможности с минимальными усилиями и неприятностями. Каждое задание является само по себе целью. Они разными способами с ним разделяются. Если они могут избавиться от проблемы, решив задачу, они решат ее, но если опыт говорит, что этот выход не лучший, они прибегнут к другим способам, даже незаконным и целиком лишаящим задание смысла, который вкладывал в него учитель.

Дети проявляют чудеса ловкости, заставляя других людей готовить за них задания. Помню день, когда Рут открыла мне глаза. Мы занимались математикой, и я был доволен собой, потому что, вместо того чтобы делиться с ней ответами и показывать ей способы решения, мне удалось «заставить ее думать», задавая девочке вопросы. Работа продвигалась медленно. Я задавал вопрос за вопросом, но наталкивался на молчание. Она ничего не говорила, ничего не делала, лишь сидела, уставясь на меня через очки, и ожидала. Каждый раз мне приходилось придумывать все более легкий и четкий вопрос, пока я наконец не нашел настолько легкий, что она смогла спокойно ответить на него. Так мы и двигались, дюйм за дюймом, пока я вдруг, глядя на Рут в ожидании ответа, с испугом не заметил, что она вовсе не озадачена моим вопросом. По сути, она над ним даже не думала. Она хладнокровно оценивала меня, испытывая мое терпение, ожидая очередного, наверняка еще более легкого, вопроса. Я понял: она меня провела! Девчонка научилась заставлять меня работать за нее, точь-в-точь как научилась принуждать всех своих прежних учителей поступать так же. Если я не говорю ей ответы — прекрасно, она просто позволит мне подвести ее к ним своими же вопросами.

Создается впечатление, что преподаватели в школах не имеют представления о детских стратегиях, так же как и я ранее. Иначе бы они учитывали их в школьном курсе и составляли задания так, чтобы ученики, по-настоящему интересующиеся предметом, имели лучший шанс на успех, а учеников, пытающихся справиться с заданиями незаконными способами, постигала бы неудача. Но беда в том, что происходит все наоборот. Школы поощряют «производителей», ребят, стремящихся получить правильный ответ любыми средствами. В программе, действующей по принципу «правильных

ответов», этого не избежать. Школы с подобными системами обучения весьма неуютны для «мыслителей».

Недавно я понял, что неуспевающие ученики относятся к любым заданиям иначе, чем успевающие; раньше мне казалось, что они тоже пытаются думать над работой, но отстают в сообразительности. Теперь я вижу, что ожидание или опасение неудачи (если они достаточно сильны) побуждают детей действовать и думать особым образом, принимать стратегии, отличающиеся от стратегий более самоуверенных детей. Хороший пример этому — Эмили. Она не способна эмоционально и интеллектуально контролировать свою работу, сравнивать свои мысли с реальностью и как-либо оценивать свои решения. Она напоминает мне убегающего от опасности зверька — лети изо всех сил, не оглядывайся, помни, где таилась опасность, и держись подальше от нее, если сможешь. Наверняка немало на свете детей, реагирующих на свои опасения точно так же.

22 сентября 1958

Дети довольно быстро распознают своих педагогов. Некоторые из них уже поняли, что нам нравятся долгие разговоры и многочисленные идеи, пусть даже нелепые. Что же мы можем сделать для детей, которые любят думать, но не любят говорить?

В моем математическом классе я нахожусь на острие другой дилеммы. Я хочу, чтобы дети думали над тем, что делают. Если я задаю слишком сложные вопросы, они пытаются прочесть мои мысли, либо, как, например, сегодня утром, они «подкидывают» нелепые идеи, следуя буквально моим словам о том, что неправильная мысль лучше, чем ничего. Если же, напротив, я разбиваю проблему на «маленькие кусочки» так, что большинство в классе может уверенно ответить на мой вопрос, разве я не делаю то же, что делал для Рут в прошлом году, — то есть домысливаю за них большую часть задачи.

Вероятно, здесь нет готового решения, иногда я должен задавать сложные вопросы, иногда — легкие.

Проблема заключается в другом — в том, что я задавал слишком много вопросов. Я научился вовремя прекращать задавать вопросы и постоянно пытаться выяснить, насколько ученики поняли материал. По сути, в задачу педагога не входят постоянные проверки и тестирование усвоения учениками материала. Это задача ученика, и только он может с ней справиться. Нам необходимо позволять ученикам самим задавать вопросы. Зачастую они довольно долго пытаются понять, какие вопросы им хочется задать. Работа учителя состоит в том, чтобы отвечать на задаваемые учениками вопросы либо помогать им лучше понять тему, когда они обратятся за помощью.

Мы старались узнать, насколько дети усвоили материал, чтобы помочь им понять его лучше. Но наши тесты на проверку усвоения материала не

*отличаются от любых школьных тестов. Они лишь заставляют детей
лишний раз нервничать и бояться.*

13 октября 1958

Из сказанного на днях учителями шестого класса можно было предположить, что кое-кто из прошлогодних «стратегов» не пошел по пути реформ. Пусть это не обескураживает нас. Мы все же должны продолжать создавать ситуации, в которых дети, пользуясь всевозможными уловками, захотят найти своей голове лучшее применение. Не исключено даже, что некоторые из них привнесут новые способы мышления в какие-то решения. Конечно, мы не можем ожидать хороших результатов от всех детей. Большинство, вероятно, вновь прибегнет к излюбленным стратегиям, в которых чувствует себя вполне комфортно.

За один школьный год не многие дети захотят и смогут полностью изменить свое отношение к жизни. В лучшем случае, мы дадим возможность почувствовать некоторым из них преимущества внимательного отношения к проблеме, творческого мышления, оригинального и конструктивного подхода вместо оборонительной и уклончивой стратегии. Мы хотим надеяться, что этим детям понравится новый подход и они попытаются повторить его, но это всего лишь надежда. Иначе говоря, одно дело — познакомить их с чужой интеллектуальной страной и даже убедить их посетить ее и побыть в ней какое-то время, другое дело — сделать их жителями этой страны. На это придется потратить гораздо больше времени.

Можно было бы предугадывать положительный результат, если бы с первых дней учебы в школе мы смогли создать хорошие условия для развития интеллекта детей. Конечно, и создание таких условий не всегда гарантирует такой результат.

Возьмем Сэма. Похоже, он хочет мыслить продуктивно, но редко это делает. На днях я написал на доске несколько рядов чисел и попросил класс сказать мне, есть ли какая-либо связь между ними. Вначале Сэм сделал несколько таких замечаний: «В верхней строке есть единица, есть она и в средней строке, а еще есть двойка в третьем ряду и двойка в пятом...» Весьма тривиально, и никакого намека на обобщение. Затем он вдруг выдал очень сильное обобщение, которое даже мне не пришло в голову. Тем не менее я не думаю, что какая-то из высказанных мыслей казалась ему лучше других. Сэм один раз может сказать, что у лошадей и коров сходство в том, что те и другие являются домашними животными, питающимися травой, а в другой раз заявить, что их сходство в том, что он ездил на них верхом, или что-нибудь в этом роде. Как нам помочь ему понять, что одни способы рассмотрения предметов и их упорядочения более полезны, чем другие?

Нам нужно убедить детей, чтобы они не боялись задавать вопросы, но еще важнее донести до них мысль, что одни вопросы более существенны, другие —

менее и что на правильно построенный вопрос ответ «нет» может быть столь же информативен, как и «да». Вот где могут пригодиться «Двадцать вопросов», карточная игра, балансир с грузом. Ученый, задающий вопрос природе, то есть производящий опыт, пытается составить его так, чтобы получить нужную ему информацию и понять, что ему делать дальше. Он задает вопросы с определенной целью. Это тонкое искусство. Могут ли научиться этому пятиклассники?

Нэнси и Шейла в прошлом году, работая с балансиром, часто приближались к правильному ответу, но никогда не попадали в точку, потому что не могли облечь свои мысли в форму возможного опыта. Одна из девочек высказала наблюдение: «Предметы весят больше, отодвигаясь дальше». Это был большой шаг к правильному ответу, но они не смогли придумать способ проверить эту догадку, не могли спросить себя (пользуясь их терминами), насколько предметы становятся тяжелее, отодвигаясь от центра бруска.

Конечно, мы с Биллом ошибались, думал, что разница между детьми в нашем классе происходит из-за разницы в технике мышления: успевающие дети пользуются хорошей техникой мышления, а неуспевающие, «производители», — плохой; следовательно, наша задача научить их лучшей технике. Однако неуспевающие ученики и не пытались (хотя бы и плохо) делать то же, что и успевающие. Они делали совсем другое. Они видели школу и свои задачи в ней по-иному. Школа казалась им опасным окружением, и их задачей было по возможности избегать опасности. Они стремились не учиться, а убежать.

Около трех лет тому назад, кроме прочего, я работал инструктором по чтению (или наставником) в школе, где преподавал пару лет в пятом классе. Я убедил школу приобрести в кабинет для первоклассников комплекты «Красочных слов» Гаттеньо, весьма хитроумные наборы материалов, где каждый звук разговорного английского обладает собственным цветом.

Среди других детей я обучал чтению семилетнего мальчика, сопротивлявшегося всем моим усилиям. Меня попросили поработать с ним индивидуально. Я отобрал несколько букв, которые вырезал из таблицы «Красочных слов», составил короткие слоги и попросил его прочесть их. Теперь я понимаю, что, по-видимому, лучше было бы предложить ему составить слоги или короткие слова, чтобы далее я произнес их, — хотя иногда мы могли работать и первоначальным способом.

Моя тактика была такова: я отберу буквы, чтобы составить слово «pat»; попрошу мальчика прочесть его, затем уберу «p», поставлю вместо нее «c» и снова попрошу прочесть. Автор комплекта Гаттеньо называл это «трансформациями», видя, как одна буква в слове способна изменить звучание этого слова, — хорошая мысль. Во время занятий мальчик абсолютно правильно проделывал три-четыре трансформации, хотя и справлялся с заданием медленно, — и это означало, как я теперь понимаю, что он действительно мог читать и действительно понимал суть процесса чтения. Но затем он вдруг подбрасывал мне свой бессмысленный слог. Он всегда был

одним и тем же. Мы, например, работали со словами, в которых не было буквы «i» или «t», — скажем: *gun, fun, bun*. Неожиданно, когда я просил его прочесть слово, он говорил «*stut*». Тогда я переспрашивал мальчика, и он спокойно и четко повторял: «*Stut*».

Это слово крайне обескураживало меня. Едва мне казалось, что он действительно понимает суть, улавливает идею слов и звуков, как появлялся этот нелепый слог. Как мог он сделать такую ошибку? Что она значила? Как мне отреагировать на нее?

Лишь через несколько недель или даже месяцев я понял, что, произнося свое бессмысленное слово, мальчик вовсе не ошибался. Он просто менял ситуацию. Прежде он выполнял одно мое задание, пытаясь угадать слова, которые я ему давал. Теперь он переходил к другому, беря себе небольшую передышку и отделяясь ненадолго от меня. В общем, он угощал меня собственной задачей, предлагая догадаться, что заставило его сказать «*stut*», и наблюдая за моим поведением. «Мяч» переходил на мою половину, и наставал мой черед «подавать».

Наконец я все же прояснил для себя ситуацию. Возможно, мне в этом помог его взгляд — отнюдь не напряженный и сосредоточенный, каким он смотрел на слова, но спокойный и любопытный. Он смотрел, ожидая моего ответного хода. Теперь роль подопытного кролика переходила от него ко мне.

Поскольку к этому времени я уже знал стратегию «скажи и посмотри», я научился, предложив ему слово для расшифровки, отворачиваться так, чтобы он не видел моего лица. Если он ошибался в отгадке или выборе, я просто продолжал сидеть и ожидать следующей попытки. При этом я позволял ему самому задавать ритм нашей работе. Раньше, слыша его нелепое слово, я поворачивался и смотрел на него, но постепенно отучился от этого. Когда мальчик говорил «*stut*», я молчал, не двигался и просто ждал. Нередко минуту-другую длилось молчание. Затем хитрец, вдоволь отдохнув, вдруг понимал, что «мяч» каким-то образом снова оказывался на его половине, и вскоре вновь включался в работу.

Тогда мне так и не удалось добиться заметных результатов по неясным причинам, но сейчас они заметно прояснились. Фактически этот мальчуган мог читать и мог расшифровывать простые слова. Но он не хотел этим заниматься и прибег к отказу.

Вероятно, гораздо полезнее для него и для меня было бы, воспользуясь я нашим временем, почитать ему вслух книжку по его выбору, либо позволяя ему читать про себя, понимая, что он может спросить у меня, как только ему захочется, что означает какое-либо слово, и я поясню ему — без каких-то вопросов, рассуждений или наставлений.

7 декабря 1958

Некоторые из наших «стратегов» за работой.

В «Географическом атласе № 2» ученикам задается вопрос: могут ли они на каждой странице указателя Атласа определить два ключевых слова, с помощью которых можно с одного взгляда узнать, какие названия находятся на этой странице? Предполагается, что ученики заметят первое и последнее географические названия в верхней части каждой страницы, напечатанные более крупным шрифтом, — как это принято делать в словарях. На днях Эбби и Джейн не могли понять, чего требует от них инструкция, в основном потому, что искали ответа, не обратив внимания на нее. Мы рассмотрели несколько приведенных в Атласе примеров, но безуспешно. Наконец я попросил девочек немного подумать. Через минуту-другую в дверях появилась Джейн и возмущенно спросила: «Вы уверены, что дело тут не в этих двух словах вверху каждой страницы?» Поразившись ее вопросу, поскольку я не говорил ничего подобного, я удивленно спросил: «А когда я это говорил?» Джейн немедленно повернулась к ожидающей по ту сторону двери Эбби и сказала: «Запиши ответ!» У нее уже появились все необходимые «улики».

21 марта 1959

Понаблюдаем и проанализируем ситуацию, когда несколько учеников работают с балансиром (описанный в памятной записке от 8 мая 1958 г.). Один ученик помещает груз туда, где, на его взгляд, он уравнивает брус; остальных спрашивают, удержит ли в этом положении брус равновесие.

Эбби. Можно подвинуть его немножко в сторону — чуть-чуть.

Элейн. Он может слегка покачаться, затем остановиться, но ненадолго. (Элейн очень предусмотрительна.)

Рэйчел. Он должен быть в равновесии.

Пат. Будет прекрасно держать равновесие.

Элейн. Чуть-чуть покачается, потом удержится.

В следующем примере 4×5 (дюймов) означает, что мы помещаем четыре груза на расстоянии пяти дюймов вдоль бруса. $2 \times ?$ означает, что мы даем ребенку 2 груза для размещения. В этом случае 2×10 д сбалаксируют брус.

4×5 д; $2 \times ?$ Элейн установила их на 2 дюйма, затем на 1, а затем на 9 дюймов. «Ты окончательно выбрала?» — спросил я, и она ответила: «Да, только я не думаю, что он удержит равновесие». Целью опыта было сбалаксировать груз! Девочка решила оставить груз на 9 дюймах.

Когда Эстер спросили о том, будет ли баланс в этом положении, она ответила: «Мне почему-то кажется, будет».

8×2 д; $4 \times ?$

Рейчел (*двигая грузы с сомнением туда-сюда*). Пожалуй, равновесия не будет.

Барбара. Поставь их туда, где оно, по- твоему, будет. (Барбара — один из наших немногих позитивных стратегов, и она придерживается во всем этого принципа.)

Рейчел устанавливает грузы на 1д. Разумеется, брус не приходит в равновесие.

3×2д; 6×? Эстер разместила шесть кубиков россыпью вдоль всего бруса, словно надеясь, что один из них попадет в волшебную точку.

Очередь Барбары. Каждый предсказывает, что брус удержит равновесие.

2×3д; 1×? Вначале она устанавливает их на 5 дюймов. Она считает черточки вместо промежутков. Затем замечает свою ошибку и устанавливает их на 6д. Все, кроме Эстер, соглашаются, что брус будет уравновешен.

1×10д; 2×?

Барбара. 2×5д. — Затем уверенно, но чуть дрогнувшим голосом добавляет: «Это наверняка сработает!»

Элейн. Поставь-ка кубик сюда (1 дюйм), это облегчит груз. А здесь (5д) — утяжелит его.

Пришла очередь Гарри, и он сказал: «По-моему, нужно поместить его ниже, так надежнее».

1×10д; 1×? Бетти установила груз на 10д.

Гил. Может немножко опуститься, потом снова поднимется.

Гарри . Вроде будет поровну.

Бетти. Мне кажется, получится равновесие.

4×6д; 4×? Ральф установил грузы на 6д. Но два игрока из группы предсказали, что баланса не будет, после чего Бетти заявила: «А я скажу, что будет, просто на тот случай, чтобы не получить слишком мало очков». (Впору вспомнить о «минимаксуме»!)

В правилах нашей игры предусматривалось давать группе очко за каждое правильное предсказание. Вскоре все думали больше о том, как бы ухитриться набрать побольше очков, чем о приведении прибора в равновесие. Мы хотели научить детей достигать равновесия бруса и ввели поощрительные очки с целью мотивации. Но дети перехитрили нас и подыскали способы повышения количества очков, не имеющие ничего общего с балансировкой бруса.

4×9д; 4×? Сэм установил их на 9д. Ральф сказал: «Он не верил мне, но я поверю ему, потому что сам поставил бы их туда же».

Позже Сэм заметил другому ученику: «Делай так, как считаешь правильным». На что Бетти с присущей практичностью добавила: «Играй безопасно».

К этому времени Бетти уже отыскала способ получать хорошие очки, для чего нужно было установить грузы на очевидно неподходящее место, после чего все игроки твоей команды скажут, что место выбрано неправильно. Следовательно, каждый заработает очко за верное предсказание. Позже Нат спросил, одинаковое ли количество очков зарабатывают предсказания «да» и

«нет». Это был хороший вопрос: нам следовало оценить догадки «да» гораздо выше.

Любопытно, что пару лет спустя, когда я просто оставил балансир с грузами на столе в конце класса, не пытаясь никого «обучать», большинство детей в классе (даже самые отстающие) разобрались с ним сами по себе.

28 апреля 1959

Вот несколько заметок, записанных на днях, когда четвероклассники играли в «Двадцать вопросов».

Многие из них очень волнуются, когда наступает их очередь задать вопрос. Мы просим детей сыграть в «Двадцать вопросов», надеясь, что, испытывая желание разгадать спрятанную мысль, они научатся задавать более полезные и дающие информацию вопросы.

Детей в этой игре беспокоит совсем другое: «Когда наступает моя очередь, я должен задать вопрос». Их не интересует цель игры или добыча полезной информации с помощью вопроса. Проблема лишь в том, чтобы задать вопрос, любой, даже уже заданный. Каждый боится, что к нему обратятся, а он будет сидеть как столб, не в силах придумать вопрос. Другую опасность они видят в том, что, когда зададут вопрос, другие ребята сочтут его глупым и высмеют.

Поэтому для них проблема состоит в том, чтобы придумать вопрос, который прозвучит хорошо. Лучший способ сделать это — прислушаться к тем ребятам, которые, на твой взгляд, сообразительны, и задавать вопросы, похожие на те, которые задают они. Иногда ребенок, обнаруживший в одной игре, что вопрос «Это вода?» полезен, продолжает задавать его в прочих играх, хотя он не имеет никакого отношения к игре.

Многие из наших детей применяют такие же уловки. Пат, Рэйчел и некоторые другие ребята также не имеют ни малейшего понятия о цели игры и мечтают лишь о том, чтобы над их вопросом не смеялись. Джесси пользуется дополнительной уловкой. Она просто отказывается задавать вопрос, говоря, что пропускает свою очередь, и выглядит при этом весьма самодовольной.

Один человек как-то поделился с нами стратегией, которую применял в школе на занятиях орфографией. Когда его просили прочесть по буквам слово, в написании которого он не был уверен, он просто поднимался — и не произносил ни слова. Ни догадок, ни вопросов — лишь молчание. Дети, наверняка осмеявшие бы его ошибки, восхищались его молчанием. Очевидно, такая уловка не принесла ему никаких неприятностей, поскольку учителя не сочли его молчание вызовом. Это была типично школьная стратегия.

У нас с Биллом тоже были молчаливые стратеги. Они ясно понимали, что их молчание не устраивало нас, но все же полагали, что это лучшая уловка.

Другая популярная стратегия заключается в замаскированном вопросе наугад. Когда дети играют в эту игру впервые, каждый вопрос является

догадкой. Вскоре некоторые из них поймут, что мало вероятности отгадать сразу и разумнее изменить тактику — попытаться постепенно сужать поле поиска. Они возмущаются товарищами по команде, которые пытаются отгадать «с наскоку». Суть фокуса они видят в том, чтобы задать «пробный» вопрос, который не кажется догадкой. И все же каждый задаваемый ими вопрос скрывает в себе догадку.

Однажды мы пользовались атласом, и полем игры были географические карты. По ориентировочным описаниям дети должны были отгадать географические названия. После очередного описания Сэму хотелось спросить, не об Италии ли идет речь, но таким образом поставленный вопрос был бы догадкой, поэтому он сказал: «Она похожа на лодку?» Каждый раз, когда наступала его очередь, он просил: «Можно, я попробую догадаться?» Стратегия сужения поля поиска не приходила мальчику в голову, либо он просто не знал, как ею пользоваться.

Бетти высказывает множественные догадки. Думая не то о Корсике, не то о Сардинии, она спросила: «Она начинается с “С” или “S”?» В другой раз она осведомилась, не начинается ли название с «В», «D», «С», «Р» или «Т»? Это неплохая стратегия. В другой раз Бетти посоветовала осторожной подруге по команде: «Не стесняйся, спрашивай напрямую!» Она просто маленький дьяволенок.

Иногда мы пробуем определить число в игре «Двадцать вопросов». Однажды я сказал, что задумал число между 1 и 10 000. Дети, хорошо пользующиеся «стратегией сужения» для нахождения чисел между 1 и 100 или 1 и 500, совершенно обескуражены, когда число прячется между 1 и 10 000. Многие пытаются отгадать с самого начала. Даже когда я поясняю, что число очень большое, они произносят числа вроде 65, 113 или 92. Другие ученики сужают поиск, пока не обнаруживают, что искомое число превышает 8000; тогда они спрашивают наугад, будто выбор чисел уже достаточно мал и стоит попробовать отгадать. Их самоуверенность в этой «охоте вслепую» просто поражает. Они говорят: «Теперь-то мы его поймали!» И всегда поражаются, обнаружив, что по-прежнему далеки от ответа.

Ребята упрямо придерживаются мысли, что единственно хороший ответ — *положительный*. Разумеется, это результат неправильного обучения, при котором «верные ответы» считаются единственно заслуживающими поощрения. Дети не научились, как следует учиться на ошибках, и даже не подозревают, что можно на них учиться. Если они спрашивают: «Число находится между 5000 и 10 000?» — и я соглашаюсь, ребята приходят в восторг. Если я говорю: «Нет», они грустно вздыхают, хотя в обоих случаях получают одинаковое количество информации. Самые настырные из них будут снова и снова переспрашивать просто ради удовлетворения еще раз услышать «да». Их более сообразительные приятели по команде напрасно указывают им, что глупо задавать вопрос, ответ на который известен.

Есть очень простой вопрос, который педагоги крайне редко задают себе. Он касается их деятельности — что в их работе помогает обучению, а что

препятствует? Причина того, что мы редко задаем этот вопрос, в заблуждении: мы всегда полагаем, будто **все**, что входит в обучение, приносит результат, и поэтому нам необходимо лишь сосредоточиться на конкретных темах детского обучения.

Как только мы, педагоги, задумаемся, все ли в нашей работе идет на пользу детям, и поймем, что мы многое делаем без пользы, а иногда просто во вред, мы должны задаться вопросом: «Что есть что? В чем смысл нашей работы?» Но только **мы** сами должны задать эти вопросы и в повседневной работе с учениками искать ответ на них. Намерения улучшить преподавание с помощью экспериментов, привнесенных со стороны, как правило, ведут к пустой трате времени и средств.

Образование является крупнейшей областью человеческой деятельности, где отсутствует прямая связь между теорией и практикой и где трудно **проверить** теории на результативность и вовремя перестать ими руководствоваться, если они бесполезны.

Мы с Биллом уже в первые месяцы нашей совместной работы в пятом классе поняли причины низкой успеваемости многих детей в нашем классе. Она заключалась в их плохом мышлении и неправильной стратегии решения проблем. Но гораздо позже я понял, что **источником** таких стратегий учеников были именно **мы**, с нашим классным кабинетом, и наша роль «командиров» и судей. Мы сами, а не математика, чтение, правописание или история были проблемой, в борьбе с которой дети изобретали свои стратегии.

Значительно позже, уже в другой школе, я начал задумываться (скорее интуитивно, чем сознательно) над тем, как вести преподавание в классе, чтобы дети не воспринимали меня **и своих одноклассников** как опасность, чтобы они освободились от этого чувства и жадно, как в раннем детстве, потянулись к познанию окружающей реальности. Важнейшая задача

педагога — открыть школьникам доступ в окружающий их интересный, волнующий, значимый и, по возможности, безопасный мир.

Именно этим и занимается большинство взрослых, обучающих своих детей дома, и их методика описана подробно в моей книге «Научи своих детей». Работающие в школах учителя могут научиться многому полезному из отчетов этих родителей о своей работе.

Глава 2

СТРАХ И НЕУДАЧИ

*Отмечая в предыдущих строках необходимость обезопасить детей друг от друга, я имел в виду не столько физическое насилие (хотя это повсеместная проблема, даже в младших классах), сколько моральное. Сотни людей — и учителя, и практиканты, и родители, обучающие собственных детей, и сами ученики — говорили мне о том, что в школах дети, не способные справляться с заданиями либо делающие их с ошибками, подвергаются насмешкам со стороны других учеников и **весьма часто со стороны самих учителей**. Большинство детей опасается насмешек и презрения одноклассников не меньше, чем насмешек педагога.*

Начиная обучать свой пятый класс, я попытался изменить это положение, но не потому, что у меня были какие-то особые теории на этот счет — теории пришли позже, — а потому, что я просто люблю детей, рад общению с ними, и мне ужасно не нравится, когда они ведут себя жестоко и подло.

Большинство учеников перешло ко мне из четвертого класса, где учительница (во многом разумная и добрая) чувствовала себя единственным источником власти и безопасности в классе. Она относилась к детям справедливо, и многие дети в классе любили ее. Однако, очевидно, она не обращала внимания на взаимоотношения детей между собой, на их ссоры — за исключением, разумеется, случаев, когда их поведение выходило за всякие рамки. Если бы ее об этом спросили, она бы, вероятно, ответила: «Почему меня должно волновать, как дети ведут себя друг с другом, и почему я должна заниматься этой проблемой, когда у меня полно других?»

*Как и большинство взрослых, она, вероятно, полагала, что дети «естественно» жестоки и с этим ничего не поделаешь, ну разве что установить какие-то пределы проявления жестокости. А может, она смотрела на детей лишь с точки зрения их послушания. Год назад мой знакомый рассказал мне, как в одной из «лучших» школ этого региона десятилетнюю дочь его приятельницы дети сделали несчастной жертвой бойкота, **и бойкот продолжался в течение многих недель, причем учитель даже не замечал этого.***

Впрочем, эти мысли лишь отголоски событий. В то время я просто заметил, что уже в начале учебного года ко мне начали подбегать ябедники, желающие выставить себя в лучшем свете и опорочить одноклассников. Они то и дело говорили: «Мистер Холт, такой-то и такой-то сказал или сделал то-то и то-то», и мне это ужасно не нравилось. Когда дети подбегали ко

мне со своими историями, я пристально глядел им в глаза и говорил доброжелательно, но твердо: «Занимайтесь своими делами!» Это поражало их, они застывали с разинутыми ртами, и поэтому мне часто приходилось повторять свой совет. Иногда я добавлял: «Спасибо, что вы сказали мне об этом, я ценю ваше желание помочь, но (показывая на свои глаза) я все вижу (и на уши) и слышу, а потому у меня хватает дел в классе. И пока никому не грозит серьезная опасность, вроде такой, что он вдруг повиснет по ту сторону окна на трех пальцах (мы были на третьем этаже), я не хочу ничего об этом слышать». Дети отходили прочь озадаченные. Они усвоили урок довольно быстро, — чтобы положить конец ябедничеству, понадобилась лишь пара недель.

Позвольте мне снова подчеркнуть, что у меня не было в мыслях теории о том, что в более дружном классе дети могут многому научиться друг у друга. Если бы тогда кто-либо предложил мне эту идею, я, возможно, отнесся бы к ней скептически. Я всего лишь хотел прекратить по мере своих сил мелочность, подлость и жестокость, просто потому что они портили мне удовольствие от моей работы. Получив от меня четкий сигнал, дети рады были остановиться. Именно тогда они создали дружный класс, и они же наглядно показали мне, что в таком классе можно помогать друг другу, учить и учиться друг от друга. Мое участие ограничивалось тем, что я позволил всему этому случиться, нашел для этого время и место, радовался за них и делился радостью с детьми, показывая, как я ими доволен.

Нечто в этом роде школы и (или) педагоги легко могут сделать. Это не потребует каких-либо лишних затрат. Единственная проблема в том, что действующие в этом духе учителя в школах, где это не является школьной политикой, могут попасть в неприятности, как случилось со мной, с Джимом Герндоном и многими другими учителями, концепции порядка которых отличались от школьных концепций.

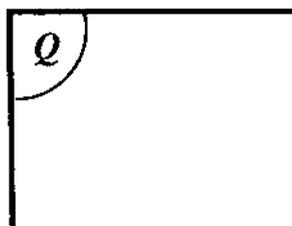
Концепции порядка. Чтобы лучше пояснить некоторые из моих мыслей о порядке, позвольте рассказать вам о «Q-правиле».

В школе, где я работал с Биллом Халлом, Билл постепенно все более вверял мне свой класс, поскольку сам часто бывал занят математическими опытами с педагогами младших классов. К концу зимы — началу весны моего второго года в этой школе класс стал моим в большей степени, чем Билла. Я допускал (и мне это нравилось) несколько большие шум и активность в классе, нежели он, но при этом возникала проблема дисциплины. Мне хотелось дать детям максимальный шанс поболтать друг с другом и насладиться общением друг с другом. Но дети энергичны, легко возбуждаются и склонны к потере контроля над собой. Мне необходим был способ обуздания шума и прекращения его при необходимости. Мне не нужен был постоянно тихий класс, но мне ни к чему было и кричать, чтобы заставить детей уgomониться.

Поэтому я и придумал «Q» (от слова Quiet — просьба соблюдать тишину). Я объяснил классу, почему мне, на мой взгляд, необходимо это

изобретение, добавив, что не прочь позволять им разговаривать, но иногда они говорят слишком громко, а мне нужна тишина, чтобы я мог о чем-то сказать или разъяснить материал. Поэтому, когда мне нужна будет тишина, я напишу в уголке доски большое «Q». Когда на доске появлялось «Q», в ход шло обычное школьное правило: никаких разговоров, пока не поднимешь руку и не получишь разрешения. Я записал это правило на большом листе картона: «Если “Q” на доске, говорить запрещено всем, кроме тех, кто поднял руку и получил разрешение». Таков был мой приговор, и когда дети разговаривали в то время, как на доске значилось «Q», я ставил галочку рядом с их фамилиями, и это называлось «получить Q». Наказанием служило то, что, когда наступала перемена, за каждое полученное тобой «Q» тебе следовало написать один раз «Q-правило», прежде чем уйти играть на перемене. Три «Q» — три правила.

Позже я несколько укоротил «приговор», поскольку не хотел отнимать у детей слишком много времени отдыха, считая его очень важным для ребят, и поскольку истинный смысл наказанием «Q» заключался в неудобстве для детей тратить свое время (пусть даже одну минутку) на написание глупого «приговора», когда остальные выбегают во двор, чтобы весело поиграть. Минута написания правила была не менее эффективна, чем пять минут, а может, и более.



Когда я впервые поместил «Q» на доске, я окружил букву маленькой «коробочкой» (см. рисунок). Поскольку дети — прекрасные адвокаты, они заспорили о том, что до тех пор, пока вокруг «Q» не будет дорисована коробочка, «Q» **официально** как будто бы и нет. Я согласился на это, и тогда дети постепенно выработали восхитительную привычку. Когда я начинал писать «Q», они реагировали на это тихим гулом или бормотаньем, постепенно усиливающимся и переходящим в вопль в тот миг, когда я лихим росчерком мелка окружал букву коробочкой. Но едва мой мелок касался края доски, завершая рисунок, как наступала мертвая тишина.

Время от времени, пока мы привыкали к «Q», я задумывался, не предпринять ли меры к этому предваряющему появление «Q» воплю. Но не стал этого делать. Во-первых, он мне нравился; он весьма красноречиво показывает энергичность и изобретательность детей, их способность создать интересное из простейших ситуаций, почти из ничего, даже из ситуации, которая им не слишком нравится. Во-вторых, я понял (вначале интуитивно, затем более обдуманно), что вопль по-своему помогал системе

«Q» действовать — и она действовала прекрасно. С его помощью дети ощущали себя хозяевами «Q» наравне со мной, и поскольку оно принадлежало и им, дети уважали нашу игру.

Позже, поняв, что большую часть времени мне нужна спокойная обстановка, а не полная тишина, я усовершенствовал «Q». Когда я писал в уголке доски строчное «q», это означало, что я не возражаю против шепота, при этом громкий разговор по-прежнему подчинялся обычному правилу «Q».

Год спустя, когда я преподавал в пятом классе в другой школе, я вновь ознакомил учеников с системой «Q». Я сказал им, что изобрел ее в прежнем классе, объяснил причины ее появления и сказал, что она подействовала, — больше ничего не говорил. Через неделю-две после ознакомления с моей системой «Q» и этот класс прибегнул к воплю. Вначале дети говорили всё громче и громче, видя, как я пишу «Q», но вскоре система повторялась — с последними штрихами мелко поднимался дружный вопль, резко обрывающийся после завершения коробочки вокруг «Q».

Когда это случилось, моему удивлению и восторгу не было конца. Теперь я вполне уверен, что в любом классе, где дети чувствуют себя спокойно и раскованно, они ответили бы учителям на внедрение «Q- правила» дружным воплем. Надеюсь, учителя достаточно благоразумны, чтобы позволить им это.

Лишь один раз (в пятом классе новой школы) дети подвергли «Q» испытанию. К тому времени они чувствовали себя гораздо более раскованными, чем дети моего первого класса, и однажды, когда на доске появилось «Q», некоторые ученики посмелее, в том числе и мои любимцы, увлеклись болтовней. Я принялся лихорадочно ставить галочки. Видя происходящее, остальные дети тоже разговорились. Мятеж! Началась игра — «а ну посмотрим, как быстро мистер Холт может ставить галочки». Вскоре я понял ситуацию. Я прекратил работу и выдал классу маленькую речь, звучащую примерно так: «Имейте в виду, я понимаю, что здесь происходит. Вы пытаетесь узнать, можете ли уничтожить “Q-правило”, — ответ, конечно, будет положительный. Правило действует потому, что вы считаете его довольно справедливым и хотите, чтобы оно работало. Единственная проблема в том, что если мы лишимся его, то чем заменим? Мне обязательно придется каким-либо способом поддерживать в этой комнате спокойствие и тишину, когда я почувствую в этом необходимость. Мне нравится позволять вам, ребята, разговаривать, хотя временами вы излишне шумите, но мне нужна возможность контролировать ваше поведение. Если у меня не будет “Q”, мне придется контролировать его так, как это делают другие учителя, — то есть вообще не позволять вам разговаривать». Далее я спросил у ребят, не считают ли они «Q-правило» несправедливым. Никто так не считал. Тогда я сказал: «Ну хорошо, начнем снова. Вы доказали вашу правоту: правило не может работать, пока вы не захотите, чтобы оно работало. Теперь я выброшу этот листок с пометками, и мы вернемся к старому правилу». Мы так и сделали, и дети никогда не

испытывали «Q» снова. Ия должен добавить, что с годами дети научились прекрасно контролировать свой шум, так что мне все реже и реже нужно было применять «Q». Действительно, если я помещал «Q» на доску, обычно это случалось потому, что дети сами просили меня об этом, нуждаясь в более спокойной и тихой обстановке.

Впрочем, концепции порядка в подавляющем большинстве школ покоятся на страхе, угрозах и наказаниях. Школы предпочитают придерживаться скорее систем порядка, основанных на страхе, **даже если они не действуют**, нежели систем порядка, основанных на сотрудничестве детей, — которое действует.

27 марта 1958

Мы согласны, что всем детям необходим успех, но одно ли и то же мы имеем в виду, желая его? По моему глубокому убеждению, успех не должен прийти быстро и легко и не должен сопутствовать постоянно. Под успехом мы подразумеваем преодоление препятствий, включая, быть может, внутреннее предубеждение, что нас может постичь неудача. Суть в том, чтобы превратить «я не могу» в «я могу и добьюсь успеха».

Полезно с ранних лет понять, что успех приходит не всегда. Если шанс на хорошую подачу в бейсболе весьма невелик, то средний шанс на удачу в жизни значительно ниже, чем в бейсболе. Для всех нас жизнь готовит гораздо больше поражений, чем побед. Не лучше ли приучиться к этому заранее? К тому же не помешает ставить перед собой пусть даже невыполнимые цели. Желание человека должно превышать его способности, иначе чему служат райские кущи? То, что нам не удастся сегодня, мы (или кто-то другой) можем достичь завтра. Наши неудачи могут вымостить путь для успеха других.

Разумеется, мы должны оберегать ребенка от непривычной череды поражений. Возможно, для нас важнее всего сделать эти поражения в большей степени почетными и конструктивными, а не унижительными. Наверное, здесь не помешает провести семантическое различие между неуспехом и поражением.

Внушает соблазн мысль о том, что мы можем организовать работу неуспевающих учеников так, что им покажется, будто они почти всегда добиваются успеха. Но разве мы сможем удержать от ребенка в тайне, чем занимаются другие дети его возраста в его или прочих школах? Отстающим в учебе ребятам нужен опыт по-настоящему хорошо выполненной работы — настолько хорошо, что они сами это поймут, не нуждаясь в подсказке. Возможно, многие из них этот опыт приобретут, если кто-то поможет им преодолеть неумение сосредоточиться и нерешительность.

Я составил эту записку в сотрудничестве с Биллом тогда, когда еще не сбросил с себя старые «лохмотья» общепринятого учительского мнения о

том, что мы каким-то образом можем заставить детей делать то или иное, «доводя их до высоких стандартов».

В записке я рассуждал об обычной во многих школах идее, подкрепленной программной инструкцией, заключающейся в том, что для внушения детям уверенности в себе необходимо давать им настолько простые задания, что они не могут не выполнить их. Это редко срабатывает. Мы можем гарантировать успех, лишь составляя настолько невероятно простое задание, что дети не ощутят ни удовольствия, ни гордости от его решения.

Теперь мне хотелось бы подчеркнуть, что «успех» и «неудача» — взрослые идеи, навязываемые нами детям. Они как бы две стороны одной монеты. Глупо думать, что мы можем внушить детям любовь к «успеваемости», не внушая им одновременно равной доли страха перед «неудачей».

Обучающиеся ходьбе малыши, падающие во время попыток, либо здоровые шести- и семилетки, пытающиеся научиться ездить на велосипеде и падающие с него, не думают при этом каждый раз, очутившись на земле: «Я опять сплховал». Здоровые малыши или дети постарше, справляясь с задачами, которые они себе выбрали, думают, когда их постигла неудача: «Ух ты, не получилось, попробую снова». Не думают они, научившись наконец ходить или ездить, какие они молодцы, что научились этому. Радость заключена в самом действии, в ходьбе или езде, а не в какой-то идее успеха.

Фактически даже для взрослых «добиться успеха» (если мы не имеем в виду разбогатеть или стать знаменитым) означает лишь осилить какие-то задачи типа решения головоломок или победы в состязании, где вы либо делаете это, либо не делаете. Это не имеет ничего общего с большинством задач, с которыми мы сталкиваемся постоянно, всю нашу жизнь, и с навыками, в которых мы постепенно совершенствуемся. Играя на виолончели и упражняясь в новых и трудных (для меня) пьесах, над которыми я работаю, типа струнных квартетов — «Американский» Дворжака и «Смерть и Дева» Шуберта, — я могу поставить перед собой короткую и конкретную задачу, например заучить некоторые отрывки наизусть или сыграть один из пассажей в определенном темпе. О таких задачах я могу иногда сказать: «Теперь я добился успеха» (хотя день-другой спустя мне придется добиваться выполнения этого задания снова). Но бессмысленно говорить вообще о «достижении успеха» в игре на виолончели или даже в исполнении этих квартетов. Не существует линии, по одну сторону которой написано **успех**, а по другую — **неудача**. Эти термины серьезно искажают наше понимание того, как мы (заодно с детьми) выполняем работу и как сделать ее лучше.

Дети, предпринимающие какие-либо действия, наподобие моей пятилетней подружки Виты, начинающей всерьез изучать скрипку, не мыслят терминами успеха или неудач, думая только об усилении и намерении играть. Только с появлением желания угодить взрослым появляется четкая линия между успехом и неудачей.

3 декабря 1958

На днях я решил поговорить с детьми о том, что с ними происходит, когда они не понимают. Мы с детьми поболтали о том о сем, и, видя, что все находится в благодушном настроении, я заметил, что мне любопытно кое-что от них узнать. Дети согласились, и я сказал: «Как по-вашему, что происходит у вас в голове, когда учитель задает вам вопрос, а вы не знаете ответа?»

Это потрясло класс, и в комнате мгновенно воцарилась мертвая тишина. Все уставились на меня со знакомым мне напряженным выражением. Долгое время никто не издавал ни звука. Наконец Бен, паренек посмелее других, нарушил молчание, одновременно громко отвечая на мой вопрос: «Ух ты!»

Он высказался за всех. Дети зашумели и согласились со словами Бена, говоря, что чувствуют смертельный испуг, когда учитель задает вопрос, а они не знают ответа. Я ужаснулся: обнаружить такое в школе, считающейся прогрессивной и прикладывающей все усилия, чтобы не оказывать давления на детей, и не применяющей систему оценок в младших классах с целью не дать ученикам почувствовать себя вовлеченными в некие гонки.

Я спросил у детей, почему они боятся, и они ответили, что боятся плохо ответить, боятся, что их оборвут, и боятся показаться глупыми. Глупыми... Почему это слово кажется детям смертельным оскорблением, почти худшим из всех, что они применяют друг против друга? Где они этому научились?

Даже в самых добрых и благожелательных школах дети боятся: многие большую часть времени, а некоторые почти постоянно. Трудно смириться с этим жестким жизненным фактом. Что мы можем с этим поделать?

30 декабря 1958

Всю осень меня мучил вопрос, почему Джек так часто падал, играя в футбол. Он проворный, хорошо координированный мальчик. У него отличное чувство равновесия. Его не сбивают игроки. Почему же он зачастую оказывается на земле? Неожиданно настал день, когда я получил на это ответ.

Я обнаружил его, пытаясь научиться контролировать напряжение, возникшее во мне во время упражнений на флейте. Изучение музыки полезно педагогам, потому что оно порождает в нас напряжение, подобное тому, в каком находятся дети во время занятий и которое давно позабыло большинство взрослых. Кстати, крайне интересно было наблюдать, как такое же напряжение охватывало учителей, когда Гаттеньо объяснял им принцип «палочек Куизенера» (о палочках Куизенера см. примечание в гл. 3, 13 ноября 1958). Они реагировали на объяснения совсем как дети, сердясь на Гаттеньо и споря с его идеями; они даже использовали выражения, присущие испуганным новой идеей пятиклассникам: «От этого чокнешься» или «Может поехать крыша».

Я много раз замечал, как дети, способные запросто справиться с одной - двумя определенными задачами, падают духом, если дать им большой лист с

этими же задачами. Нечто в этом роде происходит и при отработке музыкальных упражнений. Пытаясь сыграть этюд с высокой (для меня) скоростью, я испытываю напряжение. Если упражнение короткое, я чувствую, что могу с ним справиться, и успеваю подавить напряжение. Но если оно длинное, я с самого начала не уверен, что проиграю его без ошибок. Во время игры внутренний голос непрерывно подсказывает мне: «Пока все идет хорошо, не забудь про соль-диез; у-ух! еле справился — чуть было не сыграл фа-диез вместо фа», и т. д., и т. д. Голос становится все громче и громче, пока все коммуникационные каналы не забиваются, координация не нарушается и я не делаю ошибку, которой опасался.

Но я не забыл о Джеке и его падениях. Я определенно открыл, что, когда делаешь ошибку, испытываешь особое облегчение и ослабление напряжения. Ведь, сделав ее, тебе уже не приходится беспокоиться о том, что ты можешь ошибиться. Идя по канату, ты боишься упасть, но, упав, тебе уже нечего бояться. Дети, весьма болезненно переносящие ошибки, испытывают сильнейшее напряжение, делая что-либо правильно. Беспокойство о своей возможной ошибке столь же плохо (нет, еще хуже!) как беспокойство об уже сделанных ошибках. Следовательно, когда вы говорите ребенку о том, что он решил задачу неправильно, вы нередко слышите вздох облегчения. Он говорит: «Я так и знал, что неправильно». Он предпочитает ошибаться и знать это, нежели не знать, ошибся он или нет.

Итак, причина падений Джека в том, что они на несколько секунд снимают с него огромное напряжение, когда он играет в футбол. Будучи маленьким, он боится столкновений с более крупными мальчишками, но он боится показать и свой страх и играет решительно, так, как необходимо. Это подвергает его нервную систему слишком большому напряжению. Джек — парень, и он не может выйти из игры, как могла бы девочка, либо уйти с дороги, когда на него бегут большие игроки. Поэтому время от времени Джек падает, и это дает ему почетный отдых на секунду-другую.

На следующий год в пятом классе среди самых бесстрашных детей оказалось несколько девочек. Но тогда резче, чем сейчас, видна была разница кодексов в вопросах признания или выражения страха между мальчиками и девочками.

Это наводит меня на мысли о письменных работах. Некоторые говорят, что дети чувствуют себя увереннее, выполняя большие по объему работы письменно. Возможно. Но предположим, каждому педагогу школы прикажут выполнить десять страниц примеров на сложение за ограниченное время, без ошибок и под угрозой потери работы. Даже если для решения и последующей проверки примеров будет выделено вполне достаточно времени, есть вероятность, что ни один из педагогов не выполнит задачу идеально. Их волнение будет расти, как происходит со мной при игре на флейте, до тех пор, пока не нарушит или целиком не выведет из строя их координацию и уверенность в себе. Вы никогда не замечали, что вновь и вновь перепроверяете результат простой арифметической задачи, будто не верите, что решили ее

правильно? Я замечал. Будь мы «под прицелом» столь же долго, как этому подвержены дети в классах, мы делали бы это еще чаще.

Возможно, детям лучше давать больше письменных работ, особенно по математике, но не следует задавать им слишком много одновременно. Заставьте детей провести целый урок над одной работой, и волнение или скука наверняка вынудят их сделать глупейшие ошибки. Когда-то меня озадачивало, что самые неряшливые в работе и получающие худшие оценки ученики зачастую первыми сдают свои работы. Обычно я говорил детям: «Если заканчиваете рано, проверьте свою работу, заново решите некоторые примеры». Типичный совет педагога; с тем же успехом я мог посоветовать им помахать руками и полетать. Когда работа сдана, с напряжением покончено. Теперь их судьба «в руках богов». Дети могут еще беспокоиться о своей работе, но это фаталистическое волнение, оно не содержит элемента мучительного выбора, с результатом уже ничего не поделаешь. Беспокоиться о правильном решении задач хотя и мучительно, но в меньшей степени, чем думая о правильном решении работы, когда она перед тобой.

Дети будут чувствовать себя увереннее при выполнении большого количества письменных работ только в том случае, если они сами решают, когда и сколько заданий они хотят сделать. Давая ребятам длинные списки арифметических задач для выполнения в школе и надеясь этим добавить им уверенности, мы нередко добиваемся противоположного — создаем скуку, волнение, усиливающуюся рассеянность (что ведет к большим ошибкам) и, в свою очередь, усиления страха перед ошибками.

Лора Расмуссен, с которой Билл и я крепко подружились после выхода первого издания этой книги, разработала в своем классе систему, при которой дети могли получить и получали уверенность от письменной математической работы. Она изобрела множество разнообразных и хитроумных тематических работ (сейчас многие из них есть в продаже), каждая из которых относится к определенному математическому или арифметическому правилу. В специальном ящичке в классе у Лоры было много таких работ, и по одной копии каждой содержалось в мастер-каталоге на ее столе. Дети просматривали этот каталог, найти заинтересовавшую их работу, извлечь ее из ящичка и приняться за дело.

*Лора вскоре обнаружила, что нередко дети выполняли **правильно** какую-то работу с полдюжины или более раз, прежде чем решали, что с ней покончено. Дети не «пьют из сухих колодезь», и эти ученики выполняли задания не для того, чтобы получить хорошие оценки или порадовать Лору, — это было их личное дело. Ясно, что каждый раз, когда они повторяли работу, они узнавали о ней что-то новое либо закрепляли уже полученные навыки. Почувствовав, что они по-настоящему освоили эту часть материала, дети прекращали работу и переходили к другой.*

Но в основном домашняя работа, если она не предназначена просто, чтобы занять у детей время, задается с целью убедить педагога, а не

учеников, что они что-то знают. И поэтому она редко приносит пользу и обычно вредит.

Один из способов снизить напряжение — это уметь распознать его. Я сказал ученикам в своем математическом классе, что пропустить что-либо мимо ушей и промолчать — все равно что забыть нечто важное, отправляясь в долгое путешествие через пустыню: вам так или иначе придется возвратиться за необходимым, и лучше раньше, чем позже. Эта дурацкая аналогия помогла ребятам, по крайней мере по их словам. Они научились распознавать охватывающее их паническое чувство. Вспомнив о «путешествии через пустыню», они легче решаются признаться в нем, и я способен чем-то помочь им.

Мы не должны подвергать детей напряжению. Если мы будем это делать, они поставят свои защитные барьеры, то есть будут отвлекаться, валять дурака и повторять, что «ничего не поняли». Дети заранее должны знать, что им не придется на уроке находиться в напряжении, а в случае, если это произойдет, они могут положить этому конец.

Возможно, именно поэтому люди вроде Гаттеню, устраивающие показательные уроки в математических классах разных школ, получают столь внушительные результаты. Ребята знают, что это не настоящий урок, этот странный человек — не их учитель, и если они наделают ошибок, это не грозит ничем серьезным, и вообще это испытание скоро кончится. Таким образом, освободившись от волнения, дети готовы пошевелить мозгами. Но как нам работать с классом день за днем, поддерживая такое настроение? И осуществимо ли это вообще?

5 февраля 1959

Как случилось, что десятилетние дети стали относиться к себе с презрением и ненавистью? Такое можно было бы ожидать от детей более старшего возраста, но не от этих.

Есть ли среди них такие, кто занят окружающим и своей жизнью и кому просто недосуг задумываться о себе? Возможно, есть — это Бетти, а может, Холл. И очень немногие другие.

Остальных же, наверное, слишком рано и слишком грубо втолкнули в тесное общество других детей, где им приходится думать не об окружающем мире, а о своем положении в нем.

Сейчас я ощущаю это гораздо острее, чем раньше...

Не в нашем ли современном способе обучения, с присущими ему мягкостью, убедительностью и человеческим общением, кроется причина того, что дети могут заблудиться между собой и своей работой? Моя первая школа весьма отличалась от этого. Даже когда мне было пять лет, педагоги никогда не обращались ко мне иначе, как «Холт». Казалось, я безразличен им как личность. Я так и не знал, любили они меня или нет, и мне не приходило в

голову над этим задумываться. Их интересовала только моя работа. Если она была хорошей, ее хвалили, плохой — порицали. Возможно, в этом старомодном способе общения с детьми что-то было. Может быть, детям легче было взрослеть в таком мире, где взрослые обращались с ними сурово, бесстрастно и чопорно, предоставляя их во всем прочем самим себе.

В отчетной карточке Сэма появилось непонятное ему слово, и он готов был расплакаться. Почему мальчик *предположил*, что оно плохое? Разумеется, мы, взрослые, склонны видеть в собственных маленьких промахах или промахах наших детей доказательство общих неудач, некомпетентности и бесполезности. Относится ли это к проблеме культуры? Неужели на свете есть люди, которым не внушает стыд собственная плохая работа?

Есть опасность в использовании концепции ребенка, для того чтобы заставить его хорошо выполнить работу. Мы говорим: «Ты такой умный, хороший и т. д. мальчик, способный запросто справиться с этой задачей, если постараться». Но если работа не удастся, проваливается и концепция. Если ребенок не может решить задачу, невзирая на все старания, то ясно, что он отнюдь не умный и не хороший ученик.

Не говорит ли страх детей перед неудачей о том, что они слишком высоко ценят успех и чересчур полагаются на него? Может, мы слишком хвалим за хорошую работу младших учеников? Если мы внушим Джонни, хорошо выполнившему работу, что он молодец, не внушим ли мы ему ненамеренно плохих эмоций, когда он плохо справляется с работой?

Нужна ли детям действительно чрезмерная похвала? Когда ребенок после долгих усилий справляется с головоломкой-кубиком, нужно ли говорить ему, что он молодец? Разве он и без того не знает, что достиг успеха? По сути, поощряя его, не пренебрегаем ли мы его достижениями, крадя у него частицу славы и выходя на первый план, считая своей заслугой воспитание столь умного ребенка? Разве не является *большинство* взрослых поощрений детей чем-то вроде похвалы себе? Я вспоминаю восхитительное сочинение Ната о столовой в его доме. Теперь я обнаруживаю, к своему ужасу, что, думая с удовлетворением о том сочинении, на самом деле поздравляю себя с тем, что принимал в нем участие. Ну и умница же этот паренек! И какой умница я сам, что помог ему стать таким!

11 февраля 1959

На днях кто-то спросил: «Почему мы ходим в школу?» Пат с необычным для нее жаром ответила: «Чтобы не вырасти глупыми!»

Эти дети уравнивают глупость с невежеством. Не это ли они имеют в виду, называя себя глупыми? Может, это одна из причин их стыда, глубокого стыда, когда они что-то не знают? Если это так, то не научили ли мы их произвольно чувствовать в себе этот стыд? Нам нужно прояснить это различие детям, показать, что можно знать очень мало фактов, но прекрасно применять их. И

напротив, кто-то знает множество фактов, но действует глупо. Ученый дурак отнюдь не редкость в нашей стране.

С тех пор мне много раз довелось слышать, как дети (большинство из них «умницы» в «хороших» школах) называют себя глупыми. Под этим они подразумевают невежество, но также они подразумевают низкий интеллект, бесполезность, ненадежность и склонность к ошибочным поступкам. Почему те дети считали себя такими? Потому что обычно взрослые обращались с ними так, как будто так оно и было.

В такой школе детям не разрешалось быть официантами за обеденным столом до пятого класса. Руководящие школой педагоги — многие из них психологи — полагали, что до десятилетнего возраста детям нельзя доверять разносить по столовой блюда из опасения, что они уронят их или просто бросят. Когда дети переходили из одного классного кабинета в другой или из одного корпуса в другой, их обязательно должен был сопровождать взрослый, и передвижение осуществлялось строгими колоннами, один из учеников всегда назначался «ведущим» в помощь учителю. Все были убеждены, что без системы такого типа дети никогда не попадут туда, куда они направляются.

Мы с Биллом находились в плену тех же предрассудков в достаточной степени и испытали шок, увидев через несколько лет в общественных школах английского графства Лейчестершир шестилеток, подносящих блюда с обедом от кухонных прилавков к столам либо переходящих из класса в класс и обратно без надзора взрослых. Когда мы вернулись домой и рассказали об этих чудесах, педагоги заметили: «Что ж, по-видимому, английские дети отличаются от наших, вы никогда не заставите американских малышей делать то же».

Никому из нас не пришло тогда в голову, что подобные неуважительные предположения могут служить причиной множества проблем детского обучения.

Чтобы узнать как можно больше об окружающем мире, мы должны доверять ему, верить, что в целом он последователен и логичен. Более того, мы должны доверять и себе, чтобы понять окружающее. Мир, представленный нами детям через их школьную работу, был бессмысленным, разрозненным миром, частицы которого отделены друг от друга и полностью отрезаны от познавательного опыта детей. К тому же, общаясь с детьми, мы всеми способами учим их не доверять самим себе. Неудивительно, что они пользуются вышеописанными стратегиями.

Сейчас многие подчеркивают, что наши худшие опасения относительно других людей нередко сбываются, становясь «самореализованными пророчествами».

Кажется, многие считают, что лучший способ заботы о детях — это спросить себя: «В какой ситуации дети могут сделать глупейший и опаснейший поступок?» — и затем действовать так, будто дети непременно

сделают его. Однажды апрельским утром я сидел и играл на виолончели на берегу лебединого пруда в Бостонском общественном саду. У самого берега глубина пруда около фута, а может, и меньше. Берега вокруг выложены гранитом. За те полтора часа, что я провел там, мимо прошли четыре матери, каждая из которых вела маленького ребенка. Младшему из них было года полтора, старшему — около трех. Каждого из четырех интересовала вода, и всем хотелось взглянуть на нее. Каждая из четырех матерей предположила, что, если ребенок приблизится к кромке воды, он упадет в пруд. Они не кричали на своих детей и не угрожали им, но каждая мать суетливо пыталась встать между ребенком и водой или как-то отвлечь его от пруда, по возможности направляя малыша в другую сторону. Естественно, чем больше они пытались отстранить детей от воды, тем больше детям не терпелось увидеть ее, невзирая на отчаянные крики матерей: «Нет-нет, ты упадешь в пруд, ты упадешь!»

Но все эти малыши прекрасно ходили, давно миновав ступень неуклюжего ковыляния и падений. Шансы на то, что они могли бы упасть в воду, будучи оставленными без внимания и понуждаемые к бесшабашным поступкам, составили бы для младшего менее одного к ста, а для старших — один на миллион.

Если эти матери будут «заботиться» о своих чадах таким образом достаточно долго, они, скорее всего, добьются нежелательного для себя поведения. Маленькие дети действительно вначале очень осторожны — последите за ними на ступенях лестницы, когда они раздумывают, шагнуть ли вниз или сползти спиной вперед. Они всегда рады испытать что-то новое, но одновременно обладают замечательно точным ощущением того, что им под силу, а что нет, и в процессе взросления их способность оценивать улучшается. Но эти чересчур опекаемые дети почти наверняка вырастут слишком робкими для каких-то попыток либо неосторожными и бесшабашными сорванцами, способными на безрассудные поступки.

Чтобы доказать, что они не боятся, ребята будут пытаться совершить то, что не сделает разумный и осторожный ребенок, а очутившись в результате своих действий в опасности, они не окажутся достаточно уверенными и хладнокровными, чтобы выйти из нее.

Несколько лет назад я посетил «площадку приключений» в лондонском Холланд-парке. Площадка была полна деревьев для лазанья, веревок для раскачивания и прочих «опасных» штук. Я спросил у молодых людей, заведующих площадкой, много ли детей получают тут ушибы, и они ответили: «Нет, потому что мы предупреждаем взрослых, что для них вход запрещен». Когда матерям разрешалось входить, они постоянно твердили детям: «Не делай того и не делай другого, это слишком опасно». Детей настолько сердили и унижали подобные запреты, что они проникались желанием «показать, на что они способны», и пытались с ходу вскарабкаться на слишком высокое дерево или воспользоваться слишком сложным аттракционом. Очутившись в опасности и слыша вопли матерей:

*«Ты упадешь, упадешь!»), они вскоре теряли координацию и с треском падали. Поэтому управляющие площадкой служители отделили небольшой участок ожидания, где мамы могли посидеть и поболтать, **но не могли видеть своих детей**, пока те пользовались площадкой. С тех пор, сказали мне служители, самым серьезным повреждением была слегка растянутая лодыжка. Оставленные наедине с площадкой, дети весьма разумно подходили к вопросу, чем им рисковать, — хотя, чтобы испытать приключение, **немного** риска необходимо. Одновременно дети учились хладнокровию и собранности в рискованных ситуациях.*

*Некоторые люди крайне неохотно верят этому. На днях на занятии с родителями, касающемся домашнего обучения, я встретился с одной из таких женщин, чиновницей «служебного» агентства, профессиональной защитницей детей и блюстительницей принудительной помощи. Ее очень рассердили мои рассуждения о детской ответственности и правах и о том, что необходимо детям позволять выполнять серьезную работу, но больше всего то, что я предлагал оставлять их дома одних. Она настаивала, что дети не обладают надлежащими навыками для подобных вещей. В доказательство дама рассказала мне о своей двенадцатилетней дочери, причем очень противоречиво и странным тоном. С одной стороны, казалось, будто главной ее эмоцией была печаль, а не гнев: «Мне не хотелось бы рассказывать об этом, но придется». С другой стороны, голос ее звенел победным наслаждением: «Видите ли, это **доказывает**, что детям нельзя доверять и возле них всегда должны находиться люди вроде меня (поскольку большинство не обладает нужной квалификацией) для постоянного присмотра».*

История заключалась в том, что однажды вечером она готовила ужин, тот находился в духовке. Неожиданно ей понадобилось ненадолго уйти, и она попросила дочь присмотреть за ужином. Подробности были неопределенны, и неясно, сказала ли она дочери выключить плиту в определенное время или понадеялась, что вернется вовремя, чтобы сделать это самой. Вернувшись домой через десять минут (по ее словам), мать обнаружила, что ужин сгорел, в доме полно дыма, и бог знает что еще случилось.

В эту историю трудно поверить: оставленный в духовке на десять минут ужин обычно не успевает сгореть так, что весь дом заполняется дымом. «Видите, — повторяла печальным, но победным тоном женщина, — бедная девочка старалась как могла, но она всего лишь ребенок и не обладает навыком оценки». Понимая, что спор бесполезен, я не спросил, много ли навыка требуется, чтобы выключить плиту. Не сказал и других слов, вертевшись на языке: «Мадам, не знаю, в какие игры вы играете с дочерью и чего ради, но я знаю немало детей в половину младше вашей дочери, способных планировать обеды, покупающих продукты и готовящих обеды».

Глубокое недоверие к детям, боязнь, что они в любую секунду могут сделать что-то ужасно глупое или разрушительное, в немалой степени отравило атмосферу почти каждого детского сада, дошкольного

учреждения или центра дневного ухода из тех, что я посетил, но люди, показывающие мне эти места, всегда полагали, что показывают мне лучшее. Руководящий персонал, обычно очень приятные, добрые и интеллигентные молодые женщины, всегда одержимы особым родом волнением. При всем их желании они не способны присесть для спокойного, тихого разговора, для игры или прочего с одним-двумя детьми. Они то и дело нервно оглядывают комнату, чтобы убедиться, что все дети заняты и никто не делает ничего плохого. В результате ребенок редко получает полное внимание взрослых. Их внутренняя напряженность побуждает к тем же эмоциям всех детей, даже когда они в целом заняты какими-то любимыми играми.

Я повидал множество групп маленьких детей в Общественном саду, где дошкольные учреждения или дневные центры часто выводят детей для прогулок на лодках или просто для отдыха и игр на зеленой траве. Я почти всегда уделяю несколько минут наблюдению за играющими детьми. При этом я обращаю внимание на воспитателей этих групп. Вряд ли кто-либо из них получает удовольствие от общения с детьми. Большинство этих женщин постоянно говорит детям резкими и капризными голосами: «Замри и помолчи! Не бегай! Прекрати это! Не отходи от меня!» Но даже небольшая кучка взрослых, кажущихся незлыми и не сердитыми, редко выглядит счастливыми. Они никогда не делятся со мной заговорщицким и понимающим взглядом, каким зачастую делятся любящие матери, замечающие мой восторг при виде их маленьких детей. Присматривающие за этими группами детей воспитатели слишком обеспокоены неприятностями, которые могут отнять радость у их маленьких подопечных. И все же — что может случиться? Улица далеко, она отделена оградой, и даже если ребенок бросится к улице (чего я никогда не видел), взрослому достаточно будет нескольких шагов, чтобы поймать его.

Суть проблемы не в процентном отношении детей ко взрослым в группе, а в общем числе детей, определяющих волнение взрослых. Получается, что группа из тридцати детей, сопровождаемых пятью взрослыми, отнюдь не равна группе из шести детей, сопровождаемых одним взрослым, потому что в большой группе каждый из пяти взрослых беспокоится о всех тридцати детях. Чем больше группа, тем больше волнений, сколько бы взрослых ее ни сопровождало.

Если бы мы могли возродить наши однокабинетные школы, где смешаны дети всех возрастов, опытным учителям несложно было бы управляться с классами из тридцати учеников. Дети помладше учились бы от тех, кто чуть старше, а самые старшие, кажущиеся малышам взрослыми, могли бы помогать присматривать за остальными. Но в наших гигантских школах, из тысячи или более учеников, классы из тридцати человек действительно слишком велики для подавляющего числа педагогов. Нам нужно уменьшить школы раньше, чем классы.

24 апреля 1959

Стратегия — «продолжение» характера. Дети выбирают стратегию поведения исходя прежде всего из него, но в зависимости от настроения, от ощущения себя в школьном мире, от самооценки, оценки класса и от требований, предъявляемых к ним. Рэйчел видит класс как место, где ее заставляют делать что-то определенное, хвалят, если она выполняет хорошо, укоряют — если неверно. Она вряд ли способна пользоваться хорошей стратегией, какое бы мы давление на нее ни оказывали. Даже если я дам ей задачи, над которыми ей необходимо подумать, и даже если она подумает над ними и решит их (что вряд ли произойдет), она создаст из этого некую «продуктивную» стратегию. Она скажет (я в этом уверен), что это чокнутый класс и этот «придурок» всегда дает ей нелепые задачи, над которыми приходится трудиться, но пусть на нее не давят — она не собирается таким образом решать другие свои проблемы. Главной задачей для Рэйчел все-таки останется самозащита.

У высокоинтеллектуальных детей мы четко прослеживаем активную увлеченность жизнью. Рэйчел, Пат, Элейн, Гарри — мечтатели. Барбара, Бетти, Мария, Ральф и Холл не устраниются от жизни, они распахивают ей навстречу объятия. Однажды мы упоминали «любовную увлеченность» знаниями. Дети, о которых идет речь, похоже, испытывают это чувство к жизни. Представьте только, с каким интересом Бетти, Барбара или Сэм рассказывают любую историю о себе.

Интеллектуальные дети в своем восприятии жизни исходят из представления, что во вселенной все упорядочено. Они сверяют свои ответы и мысли со здравым смыслом, в то время как другие дети, не ожидая от ответов логики и не имея понятия о здравом смысле, не видят причин проверять и не владеют способами проверки. Впрочем, разница может быть еще глубже. Создается впечатление, что те, кого мы считаем умными детьми, испытывают ко вселенной доверие, даже если не понимают связи вещей и явлений, и им кажется, что в любом случае она не сыграет с ними злой шутки. Несколько близко это по духу замечанию Эйнштейна: «Я не могу поверить, что Господь играет в кости со вселенной»!

На с. 54 июльского номера журнала «Scientific American» за 1958 г. есть статья «Профиль созидания», в которой приведено подходящее сравнение: «Ученый анализирует проблему медленно и тщательно, затем быстро предлагает решение. Человека с меньшими творческими наклонностями скорее постигнет неудача в неорганизованных попытках получить быстрый ответ».

В самом деле! Мы часто видим, как спешащие с ответом ученики попадают в беду. Суть в том, что проблемы и ответы представляют собой разные способы рассмотрения родства, структуры, порядка. Проблема — это картина с отсутствующей частью. Дети, неторопливо рассматривающие и пытающиеся уловить суть проблемы, вскоре обнаруживают, что ответ рядом. В беду попадают те, кто видит проблему как приказ мчаться изо всех сил из

пункта отправления в неизвестном направлении. Они бросаются за ответом, не успев рассмотреть проблему. К чему такая спешка?

Посмотрим, как охотница за ответами Элейн и мыслительница Барбара решают задачу $3/4 + 2/5 = ?$

Элейн (складывая «верха» и «низы» в своей обычной манере). Почему бы не $5/9$?

Барбара. $5/9$ меньше, чем $3/4$. — Она увидела, что поскольку $2/5$ прибавлено к $3/4$, ответ должен быть больше, чем $3/4$; поэтому он не может быть $5/9$. Но это оказалось непостижимо для Элейн.

Элейн. Где $3/4$?

Барбара. В задаче!

Все же я сомневаюсь, что после долгих объяснений Элейн сможет понять слова Барбары, не говоря уж о том, чтобы она сама смогла додуматься до этого.

Плохой мыслитель бешено бросается за ответом; хороший мыслитель не торопится и рассматривает проблему. Не составляет ли разницу лишь навык мышления, техника, которой в случае удачи и изобретательности мы можем обучить наших детей? Боюсь, что нет. Хороший мыслитель может не торопиться, потому что он выдерживает неопределенность, он может вынести незнание. Плохой мыслитель не выносит незнания, оно сводит его с ума.

Это нельзя объяснить исчерпывающе страхом ошибиться. Несомненно, этот страх, скажем, подвергает Монику тяжелому напряжению, но ведь под тем же напряжением находится и Холл, и, возможно, я сам. Моника не одинока в желании найти правильный ответ и опасении ошибиться. Дело здесь заключается в другой неуверенности — неуверенности нахождения *любого* ответа на задачу. Да, Моника жаждет верного ответа, но в первую очередь она хочет получить любой старый ответ и готова на все, лишь бы получить какой-то ответ. Едва она его получит, как большая часть напряжения исчезнет. Рэйчел действовала так же, наряду с Джеральдом и многими другими. Они не выдерживают проблемы без решения, даже если знают, что оно может быть неверным. Похоже, этот панический поиск определенности, эта неспособность терпеть нерешенные проблемы лежат в основе многих загадок разума. Но в чем их причина?

Кое-кто скажет, что все это относится к компетенции психиатров. Я в этом не уверен. Человек может быть ненадежен в личных отношениях и в то же время чувствовать себя интеллектуально комфортно во вселенной. Или же это невозможно? А если возможно, то нельзя ли научить этому в школе?

16 июня 1959

Год назад меня интересовало, как всевозможные опасения влияют на стратегии детей. Работа нынешнего года дала мне ответ. Стратегия большинства этих малышей, по сути, эгоистично-сосредоточенна и эгоистично-защитна, ее цель — в первую очередь избежать неприятностей, неловкости,

наказания или потери статуса. Это особенно относится к детям, которым тяжело приходилось в школе. Когда они получают задание, я читаю их мысли по лицам и будто слышу их слова: «Разве я решу его правильно? Наверно, нет; что будет, если я ошибусь? Не рассердится ли учитель? Не засмеют ли меня другие? Услышат ли об этом мои мать и отец? Ну почему я такой тупой?» И так далее.

Даже на занятиях комнатной группы, где я изо всех сил пытался представить работу менее угрожающей, меня постоянно изумляло и устрашало видеть, как дети пытаются заранее перестраховаться от неудач, выставить решение так, чтобы в любом случае они могли оказаться правыми, а если ошиблись, то не более других в группе. Все они крайне нерешительны и боятся принять ответственное решение — и это в десятилетнем возрасте. При игре в «Двадцать вопросов», которая, как можно предположить, служит им развлечением, многие дети сосредоточены лишь на хорошем впечатлении, на том, чтобы показаться знающими игроками, независимо от того, хорошо они справляются с вопросами или нет.

Эти самоограничивающие и самопораженческие стратегии продиктованы, кроме всего прочего, страхом. Многие годы я задаю себе вопрос: почему умные дети ведут себя неразумно в школе? Ответ прост: потому что они боятся. Обычно я подозревал, что пораженческие эмоции детей чем-то связаны с их плохой работой в школе, но мне казалось, что я могу устранить их ободряющими криками: «Вперед! Ты можешь победить!» Теперь же я впервые наблюдаю механизм уничтожения разума страхом, его действие на взгляд ребенка на жизнь, мышление и повседневные поступки. Итак, у нас две проблемы вместо одной: заставить детей перестать бояться, затем переломить их плохие мыслительные привычки, в которые их загнал страх.

Больше всего поражает пронизанная страхом атмосфера в школе. Почему об этом так мало сказано? Возможно, большинство людей не распознает внешние признаки страха в детях. Они могут уловить его явные признаки, понимают беду, когда ребенок с воем прижимается к матери, но не замечают менее яркие признаки страха. Читая их в детских лицах, голосах и манере работы, я ясно понимаю, что большинство детей в школе почти постоянно испытывает страх, и многие — сильный страх. Как хорошие солдаты, они контролируют свои опасения, живут с ними и приспособляются к ним. Но беда в том (и в этом значительная разница между школой и войной), что необходимые детям поправки на страх усиливают его, разрушающе действуют на интеллект и способности. Испуганный боец может быть лучшим бойцом, но испуганный ученик — всегда плохой ученик.

На ранней стадии нашей работы Билл Халл однажды сказал мне: «Мы должны казаться этому классу взаимозаменяемыми». Другими словами, мы не должны казаться им Биллом Халлом и Джоном Холтом, но лишь учителями заранее оговоренного между нами типа. Но вскоре мы поняли, что это было невыполнимо. Мы были очень разными людьми — в некоторых

отношениях более разными, чем могли себе представить, — и мы не могли притвориться одинаковыми без риска потерять индивидуальность.

Но человек, притворяющийся «ником», — пугающее существо, особенно для детей. Я вспоминаю чудесную историю, рассказанную мне приятелем о своей в то время четырехлетней дочери. На выходных в семье было принято позволять детям вставать, когда они проснутся, но они должны были соблюдать тишину, пока не проснется мать. Однажды в воскресенье мать была очень усталой и проспала дольше обычного. Некоторое время малышка вела себя хорошо и тихо. Но время шло, мать продолжала спать, и девочка все более испытывала потребность в материнском обществе. Она начала как бы ненароком шуметь — то уронит, то громче обычного стукнет закрываемым ящиком комода. Эти звуки разбудили мать, но она продолжала лежать, притворяясь спящей. Она надеялась, что в конце концов ребенок оставит ее в покое.

Однако ребенок не выдержал. Девочка подошла к матери, нежно приоткрыла большим и указательным пальчиками глаз мамы, заглянула в него и тихонько спросила: «Ты уже здесь?» Заглядывающие нам в глаза дети действительно хотят знать здесь ли мы. Если мы не позволим им заглянуть либо они там никого не увидят, дети удивляются и пугаются. В окружении таких взрослых они не могут как следует узнать мир; большую часть времени и энергии они должны будут потратить на то, чтобы **предугадать ближайшие поступки этих взрослых.**

Многие взрослые прячут свою суть и притворяются идеальным воплощением «Учителя». Они пытаются выглядеть рациональными, последовательными и предсказуемыми, стараться не показывать, какими они бывают капризными. В этом присутствует парадокс. Дети обычно привыкли жить с реальными, капризными и подверженными смене настроений взрослыми — и с присущей им наблюдательностью и проницательностью дети учатся предсказывать поведение этих странных больших существ и считывать все их запутанные сигналы. Дети знают сложную «эмоциональную территорию» взрослых, с которыми они живут, не хуже собственной комнаты, своего дома, заднего двора или улицы. Но пытаться общаться со взрослыми, превратившими себя в некое подобие механизма, — все равно, что искать дорогу вслепую либо в густом тумане. Территория здесь, но ты ее не видишь.

К концу года, когда мы с детьми тесно подружились, одна девочка сказала мне, что всегда может предугадать, когда я начинаю «злиться». Я поинтересовался, откуда она это знала, и девочка задумалась, наморщив лоб, затем сказала: «У вас лоб становится какой-то оранжевый». Задумавшись об этом, я вспомнил, что когда мы с сестрой были примерно такого же возраста, мы могли определить когда сердится мать (обычно носившая темные очки), глядя на кожу ее лба: кожа не меняла цвет, но несколько растягивалась и выдавала эмоции «напряженным» видом. Обучая тех пятиклассников, я уже был лысым, моя кожа была очень светлой и легко

поддавалась загару, так что дети своим острым взглядом замечали даже малейшее изменение оттенка кожи, говорившее им, что меня охватывает раздражение.

Дети способны определить и понять эти скрытые человеческие признаки намного лучше, чем они могут понять наши правила, которых мы к тому же не слишком придерживаемся. Когда дети в пятом классе начинали беспокоить меня своим шумом, один из них часто предупреждал всех: «Внимание, сейчас он напишет “Q”!» (мой обычный сигнал, требующий тишины). И ученики почти не ошибались. Слыша это, я не мог удержаться от смеха. Хитрые маленькие мошенники! По тем же признакам они обычно могли определить (независимо от моих слов), когда я чувствовал себя усталым, обеспокоенным или не в себе, и скорее из сочувствия, нежели из страха, дети старались вести себя спокойнее и менее настырно, чем обычно.

12 августа 1959

Этим утром я был на концерте для детей на Эспланаде и почти в самом конце увидел метра в двенадцати справа от себя девочку, которая показалась мне умственно отсталой. Рядом сидела ее мать, очень привлекательная женщина, явно жившая за городом, и еще одна женщина. Девочке было лет тринадцать, хотя я мог и ошибиться. Она ела сэндвич, запивая его молоком через соломинку из пол-литрового пакета. Медленно, неторопливо поднося сэндвич ко рту, она откусывала кусочек и жевала его, осторожно опуская сэндвич на колени. Потом она поднимала пакет с молоком, старательно пристраивала соломинку точно посередине и осторожно отхлебывала. И все это проделывалось с такой осторожностью, будто в пакете был нитроглицерин. Она часто бросала взгляд на мать, которая оживленно разговаривала со своей соседкой и, казалось, не обращала никакого внимания на дочь. Позже я понял: девочке просто хотелось убедиться, что она все делает как полагается.

Первое, что привлекло мое внимание к девочке, была ее потрясающая некрасивость, которая часто встречается у детей с серьезным отставанием в умственном развитии. Но в чертах ее лица не было ничего особенного, если не считать болезненного изгиба рта. Хорошенькой ее никто бы не назвал, но черты лица были правильными, краски — нормальными, хотя личико было немного бледным и нездоровым.

Мое потрясение, ужас и жалость к ней и ее матери были настолько сильными, что я ни о чем не мог думать. Я стал незаметно наблюдать за ними. Девочка была слишком занята сэндвичем и молоком, чтобы что-то заметить. Потом случилось удивительное. Зазвучали последние аккорды музыкального произведения, с которым девочка не могла быть знакома, и вдруг она отложила еду, взглянула на оркестр и подняла ладони, как будто собралась хлопать. Музыка кончилась, все захлопали, и девочка тоже.

Дирижер обратился к слушателям со своим обычным: «Мы были рады видеть вас здесь. Приходите на следующий год...» и так далее, и девочка, не меняя страдальческого выражения лица, механически подняла руку; я понял потом, что это был жест прощания. Казалось, девочка выполняла ритуал: когда люди уходят, с ними надо попрощаться. Оркестр уходил, и она с ним прощалась, но не потому, что хотела что-то выразить, просто ее этому научили.

Мать и ее подруга были заняты едой и разговором, а я ушел в тень дерева, откуда можно было ненавязчиво наблюдать за этой группой. Я невольно вспомнил свой недавний разговор с моим близким другом о том, нужно или нельзя оставлять в живых детей-калек сразу после их рождения. Он сказал, что, наверное, смог бы лишиться жизни такого калеку-ребенка, повернув его лицом в подушку, чтобы все выглядело как несчастный случай. Я спросил, согласилась бы его жена с подобным решением вопроса, и мы оба пришли к выводу, что мать никогда ничего подобного не допустит.

Увы, до чего мы были наивны и невежественны! Теперь мы знаем, что тысячи, десятки тысяч матерей допускали и допускают, по причине разочарования и отчаяния, гораздо худшие поступки даже по отношению к совершенно здоровым детям.

С другой стороны, он чувствовал, что оставить такого ребенка жить — настолько тяжелое испытание для матери и ребенка, что лучше его умертвить.

Память об этом разговоре ожила во мне, вытеснив на какое-то время мысли об умственно отсталой девочке, но потом я снова стал думать о ней. Почему на нее так тяжело смотреть? Что же такое ужасающее скрыто во всех слабоумных детях? Контраст между нашими представлениями о человеческих качествах и отсутствием этих качеств в существе, сохраняющем человеческий облик? В уме сложилась формулировка: «Чтобы узнать, что значит быть человеком, мы должны увидеть кого-то, кто “меньше”, чем человек».

Но ведь, например, в животных, которые «меньше» человека, мы не видим ничего ужасного. Я вдруг понял, что то, что ужасает меня в этом ребенке, ужаснуло бы и в животном. Видели ли вы когда-нибудь собаку, постоянно чем-то безумно испуганную, с хвостом между ног, которая без конца оглядывается, шарахается в сторону и вздрагивает при малейшем шуме? Неприятное зрелище! На ребенка было неприятно глядеть не потому, что он был неполноценным человеком, но потому, что он был неполноценным животным.

После этого я много видел и гораздо более умственно отсталых детей и взрослых, и всех их отличало одинаковое выражение стыда, беспокойства и страха.

Что мы имеем в виду, называя ребенка умственно отсталым? То, что он в отношении ума и эмоций ближе к детям значительно младше его. Но взгляните на малышей, как они резвятся в траве, слушают, думают, играют, капризничают, и вам станет ясно, что бедный больной ребенок, пусть даже его

ум на уровне шести-семилетнего ребенка, отличается от любого здорового ребенка этого и даже более младшего возраста.

Тут мать девочки и ее подруга встали, сложили подстилку и пошли по траве, удаляясь от меня. Когда они проходили мимо опустевшей оркестровой раковины, девочка опять как-то неестественно подняла руку, чтобы помахать, и тогда мать мягко опустила руку дочери и придерживала ее, чтобы ребенок не воспринял это как порицание, и так они и прошли остаток своего пути по траве. Конечно, помахать рукой пустой оркестровой раковине — жест не очень разумный, но если бы это сделал маленький ребенок, то сколько бы это вызвало восторгов и умиления!

Надо сказать, что дети с отставанием в умственном развитии по той или иной причине медленнее учатся ориентироваться и понимать, чем старшие считают нормальным для их возраста. Какой должна быть их жизнь дома? Я вижу мысленно эту девочку, действия которой, повторяемые сотни и тысячи раз, сами по себе не дурны и не приносят никому вреда, но неестественны для ее возраста, и ей говорят, мягко или с грустью, что она не должна так делать. Что за сумятицу это вносит в ее голову! Детям достаточно трудно выучиться объективно необходимым вещам — не трогать то и это, не выбегать на улицу, не заходить в кабинет врача и т. д. Если же к этому длинному списку добавляется то, чего делать нельзя потому, что «ты уже большой или большая для этого», легко себе представить, как мыслительные силы и вера в мир этого ребенка терпят крах.

Другими словами, я убежден: умственно отсталые дети — результат воспитания, они не родились с отклонениями в развитии.

Я в самом деле убежден, что многие из детей «с отставанием в развитии» стали такими после того, как родились нормальными. Происходит это так: во-первых, ребенку, темпы развития которого отклоняются от общепризнанных, ставится диагноз, вернее, навешивается ярлык «дефективного»; во-вторых, ребенка начинают воспитывать как слабоумного — и все это ради исполнения медицинских предписаний; в-третьих, ребенок привыкает думать о себе как о слабоумном, и в результате диагноз полностью подтверждается.

Много лет тому назад мне посчастливилось познакомиться с учительницей государственной неполной средней школы в западной части штата Нью-Йорк. В один из ее классов попал мальчик, которого считали слабоумным; его больше некуда было устроить. Мальчик был страшно запущенным, истощенным и грязным, в рваной одежде, стыдящимся самого себя и перепуганным. Учительница начала с того, что элементарно позаботилась о ребенке. Потом она постаралась дать ему то, в чем он нуждался еще больше, — участливое внимание, физический контакт и моральную поддержку. В результате, как это довольно часто случается, мальчик, который до этого не ходил в школу, прошел курс пяти классов в один год и по знаниям сравнялся с остальным классом.

Тут учительница отправилась к тем людям, которые должны были следить за учебной работой ребенка, с требованием избавить его от клейма «слабоумного». Она привела им доказательства, что мальчик освоил курс нескольких классов за один год, и прочие свидетельства его ума и способностей. Она была убеждена, что эксперты воскликнут вместе с ней: «Боже! Этот ребенок вовсе не умственно отсталый, наоборот, у него прекрасные способности, и мы в восторге это слышать! Какие прекрасные новости! Мы немедленно снимаем этот диагноз!» Ничего подобного. Их основной заботой было не защитить ребенка и помочь ему, в чем и был смысл их работы, а отстоять «честь мундира» экспертов, поставивших некогда ошибочный диагноз. Они отказались отменить диагноз. Учительница целый год старалась их убедить в ошибке, но они тупо повторяли раз за разом, что тем, кто поставил диагноз, виднее.

Тем временем семья мальчика переехала в другой город, и учительница написала письмо руководству школы, куда должен был пойти ее ученик, с рассказом о проделанной им работе, чтобы они не засадили его в класс для слабоумных. Что было дальше, я не знаю.

Меня изумляет вот что: если IQ* отражает, пусть приблизительно, степень нашего умственного развития, почему ребенок с IQ=50 не сможет со временем стать в определенной мере нормальным и знающим человеком?

IQ (от англ. Intellectual quotient) — коэффициент интеллекта. Для каждого возрастного периода уровень (норма) достигнутых знаний и умений полагается равным 100. Отклонения от этого стандарта позволяют судить об опережении или отставании в умственном развитии. — Ред.

Говорят, что по объему знаний и способности вычислять средний взрослый человек ненамного превышает уровень двенадцатилетнего подростка. Несмотря на весь мой скептицизм относительно измерения и контроля уровня интеллекта, я считаю, что это близко к истине. Тогда почему ребенок с IQ=50 не сможет достичь уровня большинства, когда ему будет 25 лет? Что такое может с ним случиться, что он никогда этого не достигнет?

Я больше не верю, что IQ «определяет, приближенно или нет, нашу способность к обучению». Скорее всего, он определяет грубо быстроту, с которой мы обучаемся **чему-то определенному** — как правило, тому, что дети родителей, принадлежащих к верхнему слою среднего класса, усваивают без труда и так. Помимо этого тесты IQ определяют нашу способность решать определенные небольшие задачи отвлеченного характера в течение ограниченного времени. Они ни в коем случае не определяют, да и не могут определить, того, что Уайтхед назвал самым важным аспектом интеллекта, — способность задавать хорошие вопросы и знать, какие вопросы стоит задавать. Точно так же эти тесты не имеют никакого отношения к способности человека долгое время обдумывать и в конце концов решать крупные и трудные задачи. И даже если оставить в стороне весьма серьезную культурную тенденциозность, заложенную в тесты, они все равно

отражают в лучшем случае малую и тривиальную часть сферы интеллектуальных способностей людей.

Так что когда я слышу, что ребенок умственно отсталый, то всегда спрашиваю: «Откуда вы знаете? Где доказательства?» Я знал одного ребенка, начавшего ходить и говорить после трех лет; до пяти лет его с трудом понимали собственные родители. Потом как-то сразу и безо всякого лечения он превратился в красноречивого говоруна; сейчас он — прекрасный спортсмен.

Мы ошибаемся прежде всего в терминологии. Мы говорим «нормальный», имея в виду «обыкновенный», то есть встречающийся нам чаще всего, а потом превращаем это в «надлежащий, правильный, желательный», то, что должно быть непременно.

Что же превратило конкретно этого ребенка из девочки, физический облик которой старше, чем ее поведение, в клубок нервов и страха, так что на нее невозможно взглянуть без со страдания?

Я подумал было, что, если бы она вела себя как ребенок вдвое младше своего возраста, на нее было бы не так тяжело смотреть. И тут же представил тот ужас, с которым отреагировали бы окружающие на двенадцатилетнюю девочку, ведущую себя как шестилетка. Вполне возможно, что напряжение, присутствующее у слабоумных детей, возникает не от того, что им мешают делать то, что им представляется вполне естественным, а из-за ужаса и отвращения взрослых, и прежде всего их родителей, вызванных их поведением. Мы можем быть уверены, что независимо от того, слабоумны дети или нет, они воспринимают и понимают эти чувства, которые могут оказать более сильное и разрушительное влияние, чем любое наказание.

При обучении детей с отставанием в развитии воспитатель видит основную цель в том, чтобы скрыть их истинное состояние и заставить их выглядеть сообразительнее, чем они есть. Ребенок с мышлением шестилетки должен играть роль двенадцатилетнего, как эта девочка сегодня утром: все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы не разлить молоко (кого же удивит, если это случится с шестилетним ребенком). Они должны контролировать себя во всем, что бы ни делали, — как герои рассказов, выдававшие себя за кого-то: изображая другого человека, те должны были постоянно помнить о том, что должны ходить, разговаривать, свистеть, петь, чесаться, двигаться определенным образом, потому что им все время угрожала опасность разоблачения, ареста или смерти, в случае если они себя чем-то выдадут. Задача, способная сломить дух любого зрелого человека, кроме самых опытных, дисциплинированных и уверенных в себе людей. Естественно, это непосильно для ребенка, ведь он неопытен, боязлив и слишком хорошо знает, что окружающие о нем низкого мнения. Даже человек, играющий роль, или шпион должен иметь отдых; наш же ребенок с разумом шестилетки, вынужденный играть двенадцатилетнего, вряд ли может отдохнуть. Даже думать об этом жутко. Может быть, я преувеличиваю, но эта девочка... Ребенок с таким затравленным выражением лица явно живет в постоянном кошмаре.

Если нетерпимость взрослых к поведению детей с замедленным умственным развитием, которое естественно для них, делает этих детей запуганными зверюшками, что же нам делать? Нужно ли нам проводить четкую грань между поведением допустимым и недопустимым и как обучать ребенка? Но разница между нормальным и умственно отсталым ребенком состоит в том, что мы наказываем первого за «дурное» поведение, в то время как второго мы не накажем, но осумеем скрыть отвращения, а это куда хуже.

Может быть, такая преувеличенная реакция взрослых на проступки детей способствует формированию малолетних преступников? На днях, проходя по Бостон-Коммон, я увидел двух мальчишек, состязавшихся в плевках. Само по себе это зрелище выходит далеко за рамки того, к чему большинство взрослых отнесется спокойно. Почему мы столь чувствительны на сей счет? Это, по правде говоря, меня мало волновало; я подошел, чтобы присмотреться, поближе. И тут мальчишка поменьше учинил то, что было за пределами моей терпимости. Он начал плевать в своего товарища. У него это получалось плохо, он не попадал, но все же это меня ужаснуло. Меня ужаснул его голос: громкий, грубый, хриплый, скрипучий, с истерическими нотками драчливого подростка. Потом они заметили меня и затаили в унисон: «Эй, мистер, дайте монетку доехать до дому» — и так далее. Мне стало противно, и я отошел от них. Наверное, это была не лучшая реакция, но повторись это снова — я поступил бы так же.

Должно быть, есть дети, — а к ним относится и этот мальчишка, — обладающие более сильным характером, чем девочка, о которой мы только что говорили, кто иначе реагирует на шок и ужас, вызываемые их поведением у взрослых. Они не мучаются беспокойством, стараясь не возбуждать у взрослых этого ужаса перед ними; более того, они ищут случая вызвать негативную реакцию. Они считают, что их способность ужасать и отвращать от себя дает им известную власть над другими людьми.

Если ярко выраженное неодобрение по поводу поведения детей делает одних из них невротиками, а других — террористами, как мы должны поступать? Один из вариантов дать и тем и другим возможность использовать свой человеческий потенциал в ином направлении, нежели испытывать страх самим или возбуждать страх в окружающих. Нелегкая задача, но именно в этом направлении мы должны работать.

3 октября 1959

Вчера в метро, направляясь на Парк-стрит, я наблюдал за гремя подростками. Они были возбуждены и вели себя очень шумно и грубо. Может быть, они и не были малолетними преступниками, но из кожи вон лезли, чтобы казаться ими. Внезапная встреча с ними ошеломляла. Они казались далекими от общепринятого человеческого образа и похожими на диких зверей. Впрочем, не будем оскорблять диких зверей. Нельзя было не почувствовать, что доступ к их душе закрыт. В вагоне метро их окружала атмосфера напряжения и боязливого

осуждения, они это прекрасно чувствовали и были довольны. Люди мысленно отодвигались от них, чтобы даже краем одежды их не коснуться.

Понаблюдав за этими мальчиками, я увидел, кто они такие на самом деле. Каждый из них, сказав или сделав что-нибудь шокирующее, взглядывал быстро и пытливо на своих товарищей, ища их одобрения. Следующий считал своим долгом поднять еще больший шум и продемонстрировать большую лихость и, в свою очередь, искал одобрения товарищей. Мне стало вдруг ясно, что мальчишки одиноки, испытывают тревогу и страх и готовы на все, чтобы заслужить одобрение друг друга. Защитить их не мог никто, кроме товарищей, но они испытывали при этом беспокойство, потому что сами никого защитить не могли. Засмеявшись над шуткой товарища, они тут же обрывали смех, чтобы пошутить в свою очередь и получить награду смех других. Одобрение чужих шуток тут же перерастало в ревность.

Что же заставляло их искать поддержку собственного самоуважения и самооценки в ненадежном и кратковременном одобрении товарищей? Только неодобрение окружающих, граничащее со страхом. Если вы не можете завоевать симпатию людей, нужно заставить их бояться вас.

Уоррен Миллер в «Холодном мире» описывает преступный мир. Из их описаний следует, что даже в наиболее тесно спаянных уличных шайках вряд ли можно обнаружить что-то похожее на дружбу в нашем понимании. Члены шаяк — всего лишь союзники, связанные отчасти страхом перед внешним миром, отчасти сознанием того, что никому на свете не нужны.

14 декабря 1959

Последний год часто казалось, что Гарри сознательно отгораживается от мира успеха, чуждого ему, который, предлагая новые и манящие награды, в то же время может быть полон скрытых опасностей из мира неудач, в котором он сам, не ощущая себя счастливым, по крайней мере чувствовал себя как дома. Сейчас я понимаю больше, чем раньше, почему некоторые ученики считают неудачу, полную и окончательную, предпочтительной стратегией не только в школе, но и в жизни.

Труди сообразительна, с отменным чувством юмора и в какой-то степени может претендовать на звание классной сумасбродки. Учится она плохо по всем предметам, но хуже всего у нее с правописанием. Она делает больше орфографических ошибок, чем обычный третьеклассник. В течение первой половины семестра она не добилась никаких улучшений. После многих битв и поражений (все, что я знаю о преподавании, я узнал от плохих учеников) я вынес несколько идей, которые вроде бы срабатывали даже с удручающе неграмотными учениками.

Если ребенок неправильно пишет слово, я пишу это слово (правильно) на карточке 3×5 см. Быстро двигая чистую карточку по заполненной, я даю ребенку возможность видеть слово в течение доли секунды, потом прошу

произнести слово по буквам. Дети могут смотреть на слово сколько угодно раз, но доли секунды. Это мешает им произносить слово про себя и пытаться запомнить его написание по произношению. Я хочу, чтобы они увидели собственными глазами, как выглядит слово, и чтобы их мозг зафиксировал написанное.

У неграмотных учеников, естественно, набирается стопка карт. Если при контрольном опросе они правильно произносят по буквам это слово, я вынимаю соответствующую карточку из этой стопки. Эта процедура радует детей: какая-то часть груза сваливается с души. Сегодня я устроил для Труды контрольный опрос и получил сюрприз; Труды правильно произнесла двадцать слов из двадцати шести. Но еще большим, и при этом неприятным, сюрпризом было то, что Труды не обрадовалась, а забеспокоилась. То, что она стала более грамотной, показалось ей опасным. Что бы это могло значить? И тогда я догадался, почему для некоторых детей стратегия слабости, незнания, бессилия может оказаться предпочтительной. С их точки зрения, если *они* (то есть учителя) знают, что ты не способен что-то сделать, *они* и требовать от тебя этого не будут, и не станут бранить или наказывать за это. Я даже представил, как девочка плаксиво жалуется: «Ну уж теперь-то он точно захочет, чтобы я все время писала правильно, и попробуй я только ошибиться, он сразу разбранит меня!»

Дети, обнаруживающие чрезмерную зависимость от похвалы взрослых, могут решить, что альтернативой полного успеха может быть только полная неудача. Не исключено, что, манипулируя похвалой как средством заставить детей делать то, что нам нужно, мы способствуем формированию этих добровольных неудачников. И я вспомнил об одном моем знакомом шестнадцатилетнем мальчике, отец которого предъявлял к нему явно завышенные требования, которые мальчик выполнить заведомо не мог и решил не выполнять вообще никаких требований отца. Отец был столпом общества и прекрасно справлялся с любым делом, за которое брался; сын вырос бездельником и пьяницей. Однажды вечером в гостях отец увидел, как его сын, едва держась на ногах, выделяет замысловатые па танго в одиночку в центре танцевального зала, и все со смехом и восхищением следят за ним. Тогда я подумал: «Так вот в чем он превосходит своего отца!»

Часто высказывается мнение, что алкоголиками становятся люди с прекрасными способностями, которые приходят к выводу, что им не подняться до высокого уровня, установленного ими самими, стало быть, нечего и пытаться. Возможно, дети находят или пытаются найти в своем безнадежном несоответствии требованиям то убежище, которое алкоголики обретают в спиртном. Но как же избавить детей от привычки к неудачам? Организовать Общество анонимных неудачников?

Неспособность соответствовать требованиям удобна еще и тем, что она снижает ожидания и требования общества по отношению к неудачнику, а заодно и его ожидания от собственной персоны. Если вы заранее настроились

на неудачу, то уж что-что, а разочарование вам не грозит. Как говорит пословица: «Устроившись спать на полу, никуда не свалишься».

3 января 1960

Некоторые говорят, что нельзя читать старинные волшебные сказки маленьким детям, чтобы не пугать их. Но и безо всяких сказок жизнь маленьких детей полна страхов. Как первобытные люди, они живут в каком-то непонятном мире. Волшебные сказки значат — и всегда значили — для маленьких детей то же, что мифы, ритуалы и религия для первобытных людей: они дают страхам имена и определяют их сущность, тем самым позволяя узнать и, возможно, даже отбросить их. Ребенок, который может конкретизировать свой страх перед неизвестным как страх перед призраками, ведьмами, великанами, людоедами, злыми колдуньями и так далее, может в дальнейшем побороть свой страх, скачав, что этих существ на свете нет. Но если этою и не произойдет, он научится смотреть в лицо страху и как-то освоится с ним. Один мой знакомый четырехлетний мальчик с удовольствием рассказывал всем желающим послушать бесконечные истории о своем собственном чудовище, называемом Прожорливым Кугуаром. Думаю, все началось с историй о кугуаре, самом страшном звере, известном мальчугану, но потом он хорошенько разузнал о размерах и нраве этих зверей и уяснил себе, что они недостаточно велики и ужасны, чтобы вместить в себя все его страхи и кошмары. Но вот го, чем питается этот конкретный кугуар, вполне могло выйти за обычные рамки! Да, это был совсем особенный, чудовищный кугуар! Он поедал не только собратьев-кугуаров, но и дома, всё вокруг и даже города. Ему ничего не стоило бы съесть весь белый свет, была бы охота. В некоторых рассказах мальчик побеждал чудовище, в других — чудовище съедало героя, все зависело от настроения автора в этот момент. В любом случае его личный сказочный мир позволил ему в какой-то мере выразить себя и засвидетельствовать свою храбрость или трусость.

20 июля 1960

Моя племянница семнадцати месяцев как-то углядела мою шариковую ручку с колпачком и потянулась за ней. Она вытащила ее и после нескольких безуспешных попыток сняла колпачок, хорошенько рассмотрела и снова надела его на ручку, потом опять сняла и надела. Какая интересная игра! Теперь если я хочу воспользоваться моей ручкой, то должен спрятать ее подальше, потому что, едва завидев эту вещь, она хочет поиграть с ней. И так наловчилась в этой игре, что мне остается только удивляться, читая об отсутствии координации у малышей и неточности их движений. При соответствующих обстоятельствах, то есть когда заинтересованы, они оказываются гораздо более ловкими, чем кажутся нам.

В эти спокойные летние дни я наблюдал за ребенком часами. Меня больше всего поразило то, что она действовала как ученый: постоянно наблюдала и экспериментировала. Ни минуты без дела. Большую часть времени в бодрствовании она была занята интенсивной и целенаправленной деятельностью, впитывая опыт и стараясь осмыслить его, стараясь уяснить себе «поведение» вещей вокруг нее и заставить их «действовать» так, как нужно ей.

И несмотря на безусловные неудачи, она так настойчива. Ее эксперименты и попытки предугадать и проконтролировать то, что ее окружает, по большей части неудачны. Но она продолжает, ни в коей мере не обескураженная. Возможно, это потому, что ее неудачи не связаны с наказанием, за исключением естественных последствий: наступив на мячик, ты обязательно упадешь. Малыш не реагирует на неудачу так, как взрослый или даже пятилетний ребенок, потому что его еще не научили воспринимать неудачу как стыд, позор и чуть ли не преступление. В отличие от тех, кто старше ее, девочка не озабочена собственной защитой от всего, что не легко и не знакомо; она ищет опыт, она открывает объятия жизни.

Наблюдая за этим ребенком, трудно согласиться с расхожим мнением, что без наград и наказаний извне дети учиться не будут. В жизни этой девочки есть свои награды и наказания; взрослые одобряют одно, что она делает, и порицают другое. Но основную часть времени она живет вне похвал или порицаний, если в ее самообучении путем экспериментов она в основном предоставлена самой себе. В конце концов, кто придает значение занятиям ребенка, пока он спокоен и доволен? Но понаблюдайте немного и подумайте, и вы убедитесь в том, что ребенок очень хочет осмыслить окружающий его мир. Его обучение доставляет ему огромное удовлетворение вне зависимости, наблюдает за ним кто-нибудь или нет.

*Убеждение, что дети не будут учиться без наград и наказаний извне, или, говоря на пошлом жаргоне бихевиористов, без «положительных и отрицательных подкреплений», создает все условия для того, чтобы превратиться в пророчество. Если достаточно долго обращаться с детьми так, как **если бы** это было истиной, то они и сами в это поверят. Многие говорили мне: «Если мы не будем принуждать детей, сами они ничего не сделают». И что еще хуже, они добавляли: «Если бы меня не принуждали действовать, я ничего бы не делал».*

Это философия раба.

Когда люди говорят мне столь ужасные вещи о себе, я им отвечаю: «Вы можете в это верить, но я никогда не поверю. Вы не думали так о себе, когда были ребенком. Кто научил вас так себя воспринимать?» Чаще всего в этом повинна школа. Случайно ли внушается эта мысль или с какой-то целью? Я не знаю и не думаю, чтобы кто-нибудь знал. Они проповедуют это, потому что сами так думают и действовать иначе не могут.

26 февраля 1961

Невероятная неумелость некоторых ребят порой совершенно выводит меня из себя. Они ничего не могут отыскать. Когда нужно работать, у них не оказывается ни бумаги, ни карандаша. В их столах черт ногу сломит. Они теряют библиотечные книги. Если они выполняют работу дома, там они ее и оставляют; если они собираются взять материалы для работы домой, то непременно забывают их в школе. Они не в состоянии собрать отдельные листы в тетрадь. При этом их не назовешь глупыми или неспособными ребятами: многое они делают великолепно.

Тед — умный, сметливый, любознательный, приятный мальчик с хорошим чувством юмора, но за ним в школе тянется хвост непрерывных неудач и разочарований. Он прекрасный спортсмен, сильный, быстрый, с хорошей координацией движений. Но его тетради — в самом диком беспорядке, который только можно вообразить. Накануне ученики наводили порядок в столах, и я им «помогал». Из его стола выгребли кучу разрозненных листков, и я предложил ему собрать их в тетрадь. Он покраснел, как это всегда с ним происходит, когда он волнуется, засуетился, заерзал, забормотал: «Они не влезут, тетрадь не того размера», — хоть с тетрадью все было в порядке. В заключение он собрал толстую стопу листков и попытался надеть их на одно из колец тетради, не замечая того, что отверстия на листках были в добрых полутора сантиметрах от кольца. А он все запихивал, возился и бормотал. Тут я почувствовал, что мое кровяное давление уже подскочило до предела, еще немного, и я взорвусь от ярости, и у меня вырвалось: «Ради Бога, оставь, сделаешь потом, я не могу больше на это смотреть!»

Обдумывая эту и многие аналогичные сцены, я вдруг вспомнил кинофильм «Марш под солнцем» по рассказу Гарри Брауна, о приключениях пехотного взвода, оставшегося без командира, в первые дни вторжения в Италию. Когда они двигаются по какому-то лесу, их атакует легкий танк противника, но после некоторого замешательства они заманивают танк в засаду. Когда всё уже позади, солдаты обнаруживают, что их сержант, охваченный все возрастающим страхом явно под влиянием психической травмы, окончательно тронулся рассудком. Он лежит на земле, вцепившись в нее, жутко трясется и что-то бормочет. Солдаты идут дальше, чтобы выполнить какое-то непонятное задание, и оставляют сержанта одного. Когда они порядочно отошли, один из солдат заметил, что сержант наверняка выроет себе такую лисью нору, что его оттуда будет не достать.

Мне кажется, что дети отрывают себе в школе точно такие же лисьи норы, что их суетливое неумение справиться с требованиями во многом сродни психоневротическим реакциям людей, слишком долго подвергавшихся чрезмерным стрессам. Многим это сравнение покажется преувеличенным и неуместным. Они ошибаются. Мало кто из детей во все время учебы свободен от изрядной порции страха, беспокойства и напряжения, труднопереносимых для большинства взрослых. Совсем не случайно многие взрослые в самых страшных кошмарах видят себя снова в школе. Я учился хорошо, но и у меня

бывают эти кошмары. В них я вижу себя возвращающимся в класс, где я отсутствовал долгое время без уважительных причин. Я понимаю, что безнадежно отстал от класса и что мое многомесячное отсутствие должно навлечь на мою голову жуткие кары, неясно только какого рода. И все-таки я не могу уклониться, я должен идти.

Достаточно скверно для учителя чувствовать, что доверенные тебе дети тратят сознательные и управляемые интеллектуальные усилия на то, что потом — рано или поздно — оказывается бесполезным, более того, ограничивает развитие и провоцирует чувство поражения; видеть, что они выполняют работу по обязанности, но их ум при этом не получает никакой пищи; знать, что выученное ими сегодня будет забыто через месяц, через неделю или завтра.

Но еще хуже чувствовать, что многие дети уже не в состоянии преодолеть свою отрицательную реакцию на школу. Чувствовать, что ты помогаешь сделать детей менее интеллектуальными, достаточно тяжело, но дай Бог задуматься, не помогаешь ли ты сделать их невротиками!

2 марта 1961

Женщина, много лет проработавшая с детьми, которые встречаются с такими серьезными трудностями в учебе, что не могут посещать обычную школу, даже ее специальные классы, рассказала недавно аудитории, состоящей из учителей, что неспособность этих детей описать словами то, что видят, раньше называли «словесной слепотой». О «словесной слепоте» говорилось очень много. Современные эксперты, кажется, считают, что она возникает на неврологической почве; то есть у определенного процента детей имеются нарушения в организации и структуре мозга, в результате которых узнавание слов становится затруднительным или невозможным.

Возможно, иногда в этом и кроется причина проблем с чтением у некоторых детей, но считать это единственным или наиболее вероятным объяснением не стоит. Я считаю, что слепота к образам или символам, в частности к словам, — чаще всего эмоциональная или психологическая реакция, но не нервная патология. Это невротическая реакция на чрезмерный стресс. Я сам ее иногда испытывал.

Самый яркий случай произошел во время урока игры на флейте. Я хочу описать его подробно, потому что напряжение того рода, которое вызывает утрату способности осмысливать увиденное, возникает у взрослых людей разве что в военное время или в момент крайней опасности.

Урок происходил вечером. У меня был трудный и неудачный день в школе, за которым последовало напряженное и неприятное заседание комитета. Я поздно вышел из школы, попал в транспортную пробку и опоздал на урок настолько, что «разогреться» было уже некогда. У моего преподавателя тоже выдался трудный день, и от свойственного ему терпения ничего не осталось. Он вознегодовал по поводу моих скромных успехов по сравнению с прошлым

разом и решил заставить меня силой, как делают рассерженные учителя, исполнить заданный пассаж в том быстром темпе, в котором, по его мнению, я обязан был играть.

Я не смог играть в таком темпе, стал делать ошибки, хотел остановиться, но из-за его решительного настроения не рискнул прервать игру. И тут я ощутил, что в моей голове нарастает физически ощутимое давление, как будто она готова была взорваться изнутри, но снаружи на нее что-то давило. В ушах возник шум, далеко не музыкальный. И вдруг я перестал понимать ноты. Написанные знаки стали бессмысленными. Абсолютно бессмысленными. Трудно описать, что я при этом пережил. Длилось это состояние секунду-две, пока я не перестал играть и не взглянул в сторону. Я и видел ноты, и не видел их. Как говорится, все поплыло перед глазами. Сосредоточить взгляд на чем-либо стало мучительно трудно, казалось, что ноты заплясали на листе, их было невозможно зафиксировать взглядом. Более того, возникло впечатление, что я никогда не видел ничего похожего на ноты и не знаю, что бы это могло быть. Они у меня ни с чем не ассоциировались, утратили всякую связь с моим предшествующим опытом.

Эти ощущения были невыразимо пугающими и неприятными. Через секунду-другую я опустил флейту и оторвал взгляд от нот. Мой преподаватель, почувствовав, что я переступил за грань нормального, предложил мне немного отдохнуть, и после этого занятия пошли с гораздо меньшим напряжением. Но если бы я был бы ребенком? Предположим, я был бы не волен или не посмел бы прервать занятия? Или мой учитель вообразил бы, что я просто отлыниваю и нуждаюсь в более интенсивной практике?

Когда эта книга вышла в первый раз, я получил массу откликов, в том числе и от профессиональных музыкантов, в которых люди рассказывали о подобных реакциях.

И, как я писал ранее в «Никогда не поздно», я часто испытывал подобные ощущения, как правило, тогда, когда играл с оркестром, задающим слишком быстрый темп. Каким-то образом мозг отказывается воспринимать ноты как нечто осмысленное. Но в какой-то мере мозг отказывается вообще видеть их.

В течение всех семи с половиной лет, когда я играл на виолончели, я, как правило, очень плохо играл с листа. Я не мог играть новую пьесу сразу же, несмотря на то что она была мне вполне по силам и короткое время спустя не представляла для меня никаких трудностей; если мне и удавалось сыграть ее сразу, то гораздо медленнее, чем нужно. Мне нужно время, чтобы соотнести ноты с движениями рук.

Я читаю ноты с листа так же, как читают печатный текст полуграмотные люди или начинающие. Это интересно и странно, потому что я научился читать очень рано и сразу бегло, не задумываясь над процессом. Только занимаясь музыкой, я понял, как себя должен чувствовать тот, кто плохо читает.

Музыканты говорили мне то же, что и я говорю своим читателям: лучший способ научиться читать — не волноваться и практиковаться. Это помогает. Я по-прежнему не блестяще читаю ноты с листа, но у меня наметился прогресс.

Музыканты советовали мне также читать ноты не по отдельности, а блоками, тактами, фразами — «словами» музыки. Я и пытался это делать, но не мог. Я пытаюсь прочесть группу нот, но у меня ничего не получается, все равно вижу одну ноту.

Но недавно, читая ноты струнного квартета, над которым я сейчас работаю, я с радостью обнаружил, что часто вижу несколько нот сразу, иногда целый такт, если там немного нот. И дело не в старании. Я просто их вижу. Они всегда там были, но я их не видел, а теперь вижу. Что произошло?

Подозреваю, что беспокойство, сужавшее круг моего периферийного зрения, исчезло: я могу охватить им гораздо больше вещей. Беспокойство, страх, напряжение значительно ограничивают круг того, что я могу видеть или держать в поле своего внимания. Не знаю механизма этого ограничения: происходит ли оно в сетчатке, или все сводится к объему и сложности информации, посылаемой по зрительному нерву в мозг; либо дело в объеме информации, которую в состоянии воспринять мозг. Но то, что беспокойство сужает этот круг, несомненно.

Спортивный журналист Джордж Леонард как-то прекрасно сформулировал разницу между двумя видами зрения, которые он окрестил «жестким» и «мягким». «Жесткое» зрение мы используем, когда смотрим в микроскоп, телескоп или на мяч, собираясь по нему бить. Благодаря «мягкому» зрению мы можем охватить всю картину сразу, увидеть обстановку на площадке, в той части футбольного поля, где идет игра, и т. д. Когда выдающихся футбольных игроков спрашивают, как им удается совершать их знаменитые прорывы, давать точный пас и прочее, они пожимают плечами: они просто увидели удобную ситуацию и мгновенно отреагировали, вот и все.

Эта способность мгновенно воспринимать и использовать массу информации кажется мне показателем весьма высокого уровня интеллекта в самом широком смысле. Как-то раз на конференции, когда один из участников допустил бестактное замечание о баскетболистах, я сгоряча заявил, что для того, чтобы хорошо играть в баскетбол, нужно больше истинного ума, чем для написания средней докторской диссертации. Реакция аудитории не была одинаковой.

Если бы мы могли увеличивать и уменьшать беспокойство по своему желанию, то соответствующие эксперименты, наверное, показали бы резкое сужение поля внимания по мере нарастания беспокойства. По своему опыту я знаю, насколько расширяется поле внимания, когда я меньше беспокоюсь при чтении нот.

Мои друзья-музыканты научили меня еще одному: при чтении нот забегать вперед, фиксировать взгляд на нотах впереди тех» которые я сейчас играю. Читая вслух текст, я так и поступаю: мои глаза опережают голос. Но почему-то при чтении нот я на это не способен.

Причины две: первая — очевидная, вторая — не очень. Очевидная заключается в том, что каждый раз, когда я играл ноту, мой учитель или внутренний контролер говорили мне: «А ты уверен, что это правильная нота?» Другими словами, я всегда думал о той ноте, которую играл, а не о той, которую собирался играть. Чтобы исправить эту ошибку, достаточно было осознать ее и научиться (как — здесь не важно) ее не делать.

Но и стараясь не отставать и не сосредоточиваться на нотах, которые я сейчас играю, я никак не мог научиться смотреть вперед, частью из-за беспокойства, мешавшего мне держать в голове две мысли одновременно. Но было и другое, о чем я догадался только через несколько недель. Играя с листа новую трудную пьесу, я осознал, что мой взгляд прикован к ноте, которую играю. Я попытался заглянуть вперед, но это оказалось трудным делом, и я забеспокоился. Проанализировав собственные мысли и чувства, я понял две вещи. Во-первых, я боялся оторвать взгляд от ноты, которую играл, из опасения, что потом не смогу сразу попасть на это место и буду лихорадочно искать его по всему нотному листу.

Во-вторых, мне пришла в голову странная и иррациональная мысль, что нота нарочно ускользает от моего взгляда и, если я не смогу «пригвоздить» ее взглядом, она удерет. От изумления я расхохотался. Это же надо такое выдумать! И потом, ловя себя на очередной попытке закрепить ноту на листе взглядом, я принимался себя уговаривать: это всего лишь пятно краски, убежать оно не может, я в любой момент отыщу его; таким образом я пытался обрести «мягкий» взгляд, и в конце концов мне это удалось.

Я думаю, что люди, не умеющие хорошо читать, также испытывают страх что буква, на которую они не смотрят, устроит им какой-нибудь скверный фокус. У детей в школе это чувство может оказаться еще сильнее: их заставляют читать перед классом, могут разбранить или высмеять, если они потеряют место, где читали.

Я обнаружил, что мне легче читать ноты с листа, если одновременно звучит запись этой музыки. Я могу практиковаться — отрывать взгляд от ноты и находить ее снова. Слава Богу, у нас достаточно записей чтения литературных произведений, чтобы дети, слушая воспроизведение записи, следили за текстом по книге.

Это же происходит, когда родители читают книги детям, держа их на коленях или усадив рядом с собой. Дети иногда следят слово за словом, иногда их взгляд перескакивает на следующее слово, или абзац, или даже в конец страницы, чтобы посмотреть, сколько осталось, а потом снова возвращается на «то» место. Так они и выучиваются, не подозревая об этом, важному искусству чтения в непринужденной обстановке.

5 марта 1961

Одни люди говорят о детях, не умеющих читать: «Эти дети не читают или не могут читать потому, что неправильно используют свой мозг». Другие возражают: «Нет, потому, что у них мозг не тот». Доводы столь же неверные, сколь бесполезные, разговоры ради разговоров: такого различия в наших мозгах и в их использовании фактически не существует. Человеческий мозг — не машина, чтобы кто-то или что-то внутри нас его использовал или использовало с большим или меньшим успехом. Мозг существует, он работает, плохо ли, хорошо ли, но практически одинаково в разных случаях.

Нам рассказывают, что индийские религиозные мистики способны стоять годами с поднятой рукой или с рукой или ногой, зафиксированной в какой-нибудь неестественной позе. Через некоторое время этот член атрофируется. Что за смысл спорить, в чем причина — в его анатомии или в его использовании! Ясно, что в использовании: рука или нога используются определенным образом, это и делает их рукой или ногой, а не чем-нибудь другим. Возможно, это относится и к мозгу, и то, как мы его используем, определяет его возможности. Если мозг используется плохо достаточно долго, его потенциальные возможности уменьшаются. Активное использование мозга расширяет его потенциальные возможности. Следовательно, надо с большой осторожностью относиться к высказываниям, что поскольку трудности в учебе вызваны дисфункцией мозга, их устранить невозможно. Мозг как орган человеческого тела обладает большей пластичностью и регенеративной способностью, чем мы это себе представляем. Что невыполнимо одним путем, может быть выполнено другим. И наоборот, мы должны отдавать себе отчет в том, что, не загружая в достаточной мере мозг ребенка, мы провоцируем уменьшение его возможностей.

21 марта 1961

Сегодня мы с Энди долго и напряженно работали. Задачу он в конце концов решил. Вопрос в том, чему он научился. Боюсь, немногому: он определенно не усвоил сущности умножения, значит, я не достиг результата. Со своей стороны, он напомнил мне о длинной веренице неудач, разочарований, волнений. Он даже не почувствовал удовлетворения, решив в конце концов задачу, а только облегчение от того, что больше не нужно об этом думать.

Он вовсе не глуп. Несмотря на свою нервозность и беспокойство, он интересуется некоторыми вещами, сообразителен, полон энтузиазма, впечатлителен; в его сочинениях чувствуется незаурядная фантазия. Но он испуган буквально до потери сознания. Ему не дается математика, потому что в его мозгу одна мысль настолько отстает от другой, что всякая связь между ними теряется. Он не в состоянии запомнить, что именно он выучил, прежде всего потому, что не доверяет своей памяти. Он каждый день способен снова

складывать 9 и 7, чтобы получить в сумме 16 и убедиться, что ничего не изменилось или что он не сделал очередную ошибку. Как иначе можно поверить собственной мысли, если столько раз она оказывалась ошибочной?

Не представляю себе, какая жизнь его ожидает, если он не разорвет этот порочный круг неудач, уныния и страха, в котором он мечется, как в ловушке. Но как он его разорвет? Самое худшее то, что, по-моему, мы, взрослые, в действительности этого не хотим. Это же не случайность, что мальчик запуган. Мы запугали его сознательно, по своей воле, чтобы нам было легче контролировать его поведение и заставлять его делать то, что нам надо.

Я прихожу в ужас, когда понимаю, как часто сам использую страх и беспокойство как средства управления. Правда, я думаю или, во всяком случае, надеюсь, что в моем классе ребяташки меньше испытывают страх, чем в других классах. Я стараюсь использовать средства управления и принуждения как можно реже. Но ведь работа должна быть сделана — не так ли? — и свобода действий ребят в классе должна иметь пределы, и методы, которыми я пользуюсь для достижения этих своих целей, основываются, в конечном счете, на страхе — страхе испортить отношения со мной, или со школой, или с родителями.

Вот вам Энди, страхи которого сделали его практически не способным к конструктивному мышлению и к работе. С одной стороны, я стараюсь рассеять эти страхи. А с другой стороны, я должен заставить его решать ненавистные ему математические задачи. Как заставить? Наказаниями, эффективными в той мере, в какой они возбуждают страх, который я потом стремлюсь снять. К тому же дети, почувствовавшие некоторую свободу от ярма страха, столь им привычного, начинают себя вести точно так же, как все люди, почувствовавшие свободу: узники, вырвавшиеся из камер, победившие революционеры. Они начинают валять дурака, становятся буйными и неуправляемыми и могут отомстить взрослым, так долго их угнетавшим. В итоге, чтобы держать такого мальчика в рамках, чтобы школа и семья были им довольны, я должен держать его в страхе. Получается, что одной рукой я ему даю свободу от страха, которую тут же отбираю другой рукой.

Есть ли в этом какой-нибудь смысл?

Глава 3

ОБУЧЕНИЕ ВСЕРЬЕЗ

22 апреля 1958

Записка для методической комиссии по математике

Мы требуем от детей, чтобы они задумались о смысле того, что делают. Мы говорим им, что это — верный способ получить правильный ответ. Однако это может привести к одному из парадоксов или противоречий, столь характерных для элементарной математики. В таких случаях ученик, не отходящий от стереотипного: «Ну и ладно, буду делать, как мне велят, это не моя печаль!», прекрасно справляется с заданиями, в то время как другой, кто воспримет требование учителя буквально и будет тщательно обдумывать каждое свое действие, запутается сам и запутает учителя до изумления.

В одном из пятых классов ученикам было предложено подумать, как разделить целое на дробь. Учитель сказал: «Попробуйте самостоятельно разделить 6 на $\frac{1}{2}$ ». Ученики твердо усвоили то, чему их научили раньше: что «разделить 8 на 4» нужно интерпретировать либо как «Сколько раз 4 содержится в 8?», либо как «Если вы разделите 8 на 4 равные части, сколько получится в каждой части?» Большая часть класса пошла первым путем: «Сколько раз $\frac{1}{2}$ содержится в 6?» — и пришла к выводу, что 12. Но две девочки, прекрасно усвоившие умножение на дроби несколькими днями раньше, решили пойти другим путем: «Если вы разделите 6 на половинки, сколько получится в каждой части?» — «Естественно, 3».

Логика девочек была безупречна, моя же никуда не годилась и привела к неприятностям. Я не сказал им, что вторая интерпретация здесь не годится, более того, бессмысленна в случае деления на дробь. Не сказал, потому что не понимал это сам. Поскольку я изложил им правило, они заключили, что оно должно иметь смысл, и фактически перевернули его так, чтобы оно получило смысл. 6, деленное на $\frac{1}{2}$, должно было означать только 6, деленное пополам.

Мои неточные определения обусловили их непонимание. Как и у большинства людей, мое применение слова «разделить» противоречит его математическому смыслу. Мы говорим: «Раздели пирог на 4 части», понимая под этим, что пирог нужно разрезать по двум взаимно перпендикулярным линиям, пересекающимся в центре пирога; мы говорим: «Раздели отрезок пополам», понимая под этим, что нужно найти среднюю точку этого отрезка; короче, мы говорим о делении на половинки, когда правильно было бы предложить разделить на 2. Поэтому для этих девочек вполне естественно было решить, что деление 6 на $\frac{1}{2}$, то есть напололам, дает в итоге 3.

Один из мальчиков, сам того не желая, внес еще большую неразбериху. В начале урока он вполне толково объяснил у доски, что смысл задачи — выяснить, сколько $\frac{1}{2}$ содержится в 6; ответ — 12. И тут же сделал ошибку, которую сделали бы и многие взрослые. «Двенадцать чего?» — спросил он и ответил: «Двенадцать половинок», — и соответственно написал на доске $12/2$. Он тут же увидел свою ошибку, исправил ее, но было уже поздно: оппозиция послала своего лидера к доске, и та, использовав другую интерпретацию деления, доказала, что $6 : \frac{1}{2} = 12/2$, то есть 6. Поскольку это была бессмыслица, все стороны остались при собственном мнении.

В дискуссию включились другие ученики, чтобы доказать девочкам, что они не правы, но у них ничего не получилось. Чтобы вывести заблудившихся людей из леса, вы должны пробиться к ним. Но никто не мог понять, как у девочек получился такой результат, и никто не мог им помочь. Все повторяли свое без конца. Наконец кому-то пришла мысль попросили одну из девочек решить на доске задачу $6 \times \frac{1}{2}$. Она написала $6 \times \frac{1}{2} = 3$. Хорошо, значит, и при умножении, и при делении 6 на $\frac{1}{2}$ получается один и тот же результат? Тут девочка сказала: «Нас обманули!» Интересно, как часто дети чувствуют себя обманутыми нами, их учителями?

Другая девочка прошептала своей подруге: «Мы попали впросак!» — потом пролепетала, что деление и умножение на дробь, видимо, одно и то же. До нее не доходило, что оба раза она умножала на дробь. Не выдержав общего напора, она сказала подруге: «Ладно, не будем спорить. Половина 6 равна 12. Не знаю почему, но 12».

Эти слова ярко высветили отношение детей ко всему, что делается в школе. Сколько же вещей, которым я учу, было воспринято учениками таким образом? Мои слова могли показаться ребенку противоречащими здравому смыслу, смыслу слов в английском языке и даже тому, что я сам говорил некоторое время тому назад, но он должен был склониться перед авторитетом учителя и принять его слова вне зависимости от того, есть в них смысл или нет.

В конечном счете, я помог девочкам понять их заблуждение и честно признался, что мои собственные слова были его причиной. Но потом я несколько недель думал о возможных противоречиях в моих объяснениях в классе и обрел чувствительность к ним. Этот случай показал мне, что мы, учителя, должны начать рассматривать наши идеи и методику глазами тех, кто ничего не знает, кому все нужно доказывать и кто не терпит непоследовательности и парадоксов. Мы должны освободиться в классе от неоднозначности, неточности и противоречий. Поскольку необходимость внести ясность и последовательность в «элементарную» математику является одной из основных проблем, стоящих перед математиками, это нелегкая задача.

28 июля 1958

Однажды, несколько лет тому назад, кто-то из друзей спросил меня: «Ты видел когда-нибудь силиконовую шпательку?» — и, услышав, мой отрицательный ответ, протянул мне комок. Я размял его, расплющил, вытянул в длинную тонкую веревочку, разорвал на маленькие кусочки. «А теперь скатай ее в шарик и брось на пол!» — предложили мне. Я так и сделал. Мои глаза, мой мозг, каждая моя косточка знали, что должно произойти: шпателька должна расплющиться на полу и пристать к нему. Когда я швырнул комок об пол, мой взгляд последовал вниз за ним чисто инстинктивно, но шарик оказался чуть ли не на уровне моих глаз: он подскочил. В какие-то ужасные доли секунды вселенная вокруг меня заколебалась. Я был на грани дикого ужаса. Но тут же что-то щелкнуло у меня в голове, кто-то внутри сказал: «Ага, он прыгает, очень забавно, чего только люди не придумают!» — и в мире снова воцарился порядок и разум.

Это заставило меня вспомнить о маленькой девочке—первокласснице? второкласснице? — которая расплакалась, когда учитель рассказал в классе, как пишется слово «однажды». Учитель был уверен, что девочка плачет потому, что слово трудное. Но не исключено, что она плакала оттого, что было разбито вдребезги ее представление о том, как должны писаться слова. Может быть, ей было бы легче, если бы учитель допустил, что правила написания слов непостижимы для нормального ума. Наверное, детей отвращает от школы не только то, что слова учителя кажутся им иногда бессмыслицей, но прежде всего манера учителя преподносить эти бессмысленные вещи в одном ряду с нормальными, и ребенок начинает чувствовать, что если он чего и не понял, то это — его вина, как и было задумано.

То, что нам кажется простым, естественным и самоочевидным, совсем не является таковым для ребенка. Возьмем, например, число 10. Мы так привыкли к нему, что не представляем, какое удивление может испытать кто-то, знающий 1 и 0 по отдельности, когда ему скажут, что эти две цифры вместе означают гораздо большее число. И, знакомя детей с этим числом, мы должны дать понять, что здесь кроется нечто условное, чтобы они не растерялись перед этой тайной. Иначе они испытают шок, который никогда не изгладится из их памяти.

Но дети, самостоятельно выучивающиеся читать, не впадают в истерику при виде слова «однажды» или любого другого слова, которое пишется не так, как слышится. Дети, учащиеся самостоятельно тому, что их интересует, не теряются при виде чего-то необычного или странного. Они могут думать и фантазировать на тему того, чего не понимают, но сам факт непонимания их несколько не беспокоит. Беспокойство возникает тогда, когда взрослые начинают контролировать их учебу и навязывают свое понимание, и дети начинают волноваться из-за своего непонимания как источника потенциальных неприятностей со стороны взрослых.

Точно таким же образом детей не волнует и не пугает парадокс числа 10, если дать им возможность познакомиться с этим числом 10 как с другим

ребенком, то есть позволить им иметь с ним дело и думать о нем, только когда им захочется. Однажды они привыкнут к 10; эта цифра больше не будет им казаться странной, и они сами удивятся, что в ней странного.

Мне в детстве никто не «объяснял» 10, или функцию основания, или ее место в нашей системе счисления. Я учился в школе со старыми порядками, где ограничивались тем, что показывали, как нужно решать задачи, не снисходя до объяснения, почему нужно делать так, а не иначе, и в чем здесь смысл. Наверное, детям, не склонным к бездумному подражанию, учиться в этой школе было трудно. Но со мной все было в порядке, я спокойно делал, что мне велели, а на досуге додумывался и до смысла 10, и до других вещей, как и когда мне хотелось.

Потому что неудачные объяснения хуже, чем их отсутствие.

13 ноября 1958

Нелады с арифметикой возникают у детей оттого, что они должны запоминать массу фактического материала, представляющегося им чем-то абстрактным — без образа, смысла и интереса; к тому же их заставляют запоминать массу правил, чтобы манипулировать этими фактами, и все это дети должны воспринимать на веру. Я не должен постоянно проверять мои арифметические операции практикой, поскольку доказал себе, что правила работы с числами основаны на законах, реально существующих в мире чисел. Я уверен, что могу спокойно применить традиционный метод умножения для того, чтобы умножить 24 на 36, то есть $24 \times 36 = (20 \times 30) + (4 \times 30) + (20 \times 6) + (4 \times 6)$. Но если я не уверен в правильности решения, использование традиционных методов теряет смысл. Где гарантия, что все эти хитрые манипуляции типа «перенос нуля в произведение» или «сдвигание следующей строки на один разряд» дадут правильный результат? Как в этом убедиться на основе здравого смысла?

Достоинства палочек Куизенера* в том, что с их помощью ребенок может не только догадаться, как самому выполнять некоторые действия, но также и убедиться в их полном соответствии реальным фактам мира чисел.

Поскольку я собираюсь рассказывать о работе детей с палочками Куизенера, пришло время рассказать об этих палочках. Их придумал бельгийский педагог Куизенер. Это набор деревянных палочек сечением сантиметр на сантиметр (толщиной приблизительно с мизинец) и разной длины — от 1 см до 10 см. Палочки окрашены в разные цвета; палочки одной длины имеют один цвет: 1 см — белые, 2 см — красные, 3 см — светло-зеленые, 4 см — малиновые (дети часто называют их розовыми), 5 см — желтые, 6 см — темно-зеленые, 7 см — черные, 8 см — коричневые, 9 см — голубые, 10 см — оранжевые. Говоря об этих палочках, я часто буду называть их по цвету, но в скобках буду указывать их длину, например желтые (5). Тем, кто занимается с детьми арифметикой, рекомендуется запастись набором этих палочек, тогда они сами убедятся в истинности моих рассказов.

Палочки были изобретены и впервые использованы Куизенером, но очень большую роль в их распространении и использовании сыграл д-р Калед Гаттенхо, английский профессор математики и психологии, который сделал их известными во многих странах, в том числе в США, где их используют (и часто неправильно) во многих школах.

«Достоинства палочек Куизенера...» Сейчас я отношусь к ним скорее скептически. Билл и я увлеклись этими палочками, поскольку мы видели тесную связь между миром палочек и миром чисел и предполагали, что дети, работая с палочками, увидят смысл операций в мире чисел. Но вся беда в том, что я и Билл уже знали все о мире чисел. Мы могли сказать: «Ну, палочки ведут себя совсем так же, как числа». Но если бы мы были невеждами в мире чисел, смогли бы мы это увидеть? Не уверен. Конечно, они помогли детям в моих и в других классах. Но столь же часто не помогали. Так же часто учителя, их использовавшие, не владеют методикой. Они не видят связи этих палочек с миром чисел и с операциями с числами; естественно, они не могут использовать палочки для объяснения материала на уроках арифметики.

26 ноября 1958

Способны ли палочки Куизенера помочь нам руководить стратегией слабых учеников, как нам хочется? И не случится ли так, что наши «стратеги» найдут брешь в логике учителя? Ну, представим себе хотя бы нашу старую знакомую Эмили. Я спрашиваю: «Что получится, если 3 разделить на 4?» — «Три четверти». — «4 разделить на 3?» — «Четыре третьих». — «4 на 5?» — «Четыре пятых». — «5 разделить на 4?» — «Пять четвертых». Конечно, я прошу детей смотреть на палочки. Но подсказывают ли палочки ответ? Может быть, это просто игра такая? Предположим, мой следующий вопрос будет сформулирован так: «А если разделить плих на плюх?» Ответит ли она: «Плих плюхих»? «А если плюх на плих?» — «Плюх плихих!» Стратегия хоть куда, если дает правильные ответы! Подозреваю, что и другие делают то же самое, а Гил выдает приятелям совет типа: «Бери числителем дроби первое число...» И с этой стратегией их не собьешь, если ограничишься советом держать палочки и смотреть на них.

Один из способов вывести этих «стратегов» на чистую воду — изменить форму вопросов. Возьмем желтую палочку (5) и спросим: «Если она — 1 (целое), покажи мне $3/5$ » и т. д. Такие вопросы позволяют выяснить, действительно ли они видят палочки и их соотношения.

Может быть, что-то в этом есть, когда ответить на вопрос нужно действием, а не словами? Что-то сделать, показать в ответ на вопрос...

«В ответ на вопрос...» Это неплохая идея, только увлекаться ею не стоит. Заставить детей действовать, а не говорить — это отнюдь не улучшает положения, если при этом ученики по-прежнему нуждаются в том, чтобы учитель оценил их ответ как правильный или нет.

Нам нужны задачи, где цель четко определена, как в головоломках: разъединить кольца, закатить мяч в лунку и т. д. Никто ведь не спросит: «А правильно я сложил головоломку?», все и так ясно.

Я скажу об этом позже, когда речь пойдет о математической лаборатории.

6 декабря 1958

Наблюдения, сделанные в классе Билла Халла

Вчера на уроке вы показывали ученикам две палочки и предлагали определить соотношение их длины. Через некоторое время я заметил, что вы неизменно спрашивали вначале об отношении меньшей палочки к большей. В ответ дети называли дробь, в которой меньшее число было числителем. Если вы задерживались с реакцией, демонстрировали нерешительность или переспрашивали, некоторые из них мгновенно меняли местами числитель и знаменатель: если сначала они называли пять седьмых, то в исправленном варианте назывались семь пятых. Делали это трое: Рэйчел, один из мальчиков и Барбара.

Именно Барбара, обычно такая рассудительная и умненькая, заставила меня обратить внимание на это явление. Показав черную (7) и голубую (9) палочки и поменяв их местами, вы спросили: «Какую часть голубое составляет от черного?» То есть изменили последовательность вопросов. Девочка ответила: «Семь девярых», но, увидев вашу нерешительность, выпалила, покраснев: «Девять седьмых». Я не уловил ни в ее лице, ни в голосе, ни в манере и слабого намека на то, что она понимает, почему ее первый ответ был неверным, или на то, что она уверена в правильности второго ответа. Если она не уверена, уверены ли другие?

Палочки нам нужны для того, чтобы показать детям дорогу в джунглях арифметики. Но не поглотят ли джунгли дорогу? Что за смысл уговаривать Монику смотреть на палочки, если в них она не видит ответа? Вместо одной головоломки она сталкивается с двумя.

7 декабря 1958

Однажды в классе я пытался показать ученикам, что деление — действие, которое может быть произведено не только над числами, и что его может выполнить человек, и вовсе незнакомый с числами. Я сказал: представьте себе, что у вас есть большой мешок шариков, которые вам нужно поровну разделить между четырьмя людьми, причем сосчитать шарики невозможно. Большинство детей решило, что шарики нужно раздавать по очереди, пока они не кончатся. Но Пат и еще один мальчик решили делить по-другому. Пат написала: «Можно измерить длину мешка линейкой. Предположим, у вас получилось 8 дюймов; 8 делим на 4, получаем 2 дюйма. Можно разрезать мешок по отметкам 2 дюйма

(тут была приложена схема мешка, рассеченного прямыми, долженствующими изобразить разрезы) и тем самым поровну разделить шарики».

Мальчик поделился примерно такой же идеей. Я поговорил с ними с глазу на глаз по очереди. Перед каждым я изобразил большой и тяжелый мешок с шариками, к которому я приступаю с ножницами: «Ну, разрежу я мешок для начала пополам, и что получится?» Оба очень веселились, представив себе воочию свой способ дележки, бывший до этого чистой теорией.

Конечно, если бы они столкнулись с этой проблемой в жизни, им и в голову бы не пришло резать мешок. Это они только в школе так думают.

В связи с этим я вспоминаю один эпизод. Приятель готовился к экзамену по химии. Он пытался запомнить перечень солей, растворимых в воде. Повторяя перечень, в числе растворимых солей он упомянул карбонат кальция. Я предложил ему припомнить, в состав каких материалов входит эта соль. Он тут же назвал известняк, гранит и мрамор. «Интересно, — сказал я, — и часто ты видел, как гранит растворяется под дождем?» Такой практический подход ему и в голову не приходил. Между химией, которую он изучал, и реальным миром, миром его чувств и здравого смысла, никакой связи не было.

6 февраля 1959

Меня вдруг осенило. Предположим, мы дадим задание ученикам начертить два отрезка, причем один из них должен быть равен по длине пяти седьмым второго. Скорее всего, они начертят отрезки длиной 5 и 7 дюймов. А теперь предложим начертить два других отрезка, чтобы длина одного из них была равна пяти семнадцатым длины другого. Почти все скажут, что это невозможно, потому что отрезок длиной 17 дюймов не уместится на тетрадном листе.

Единственное утешение в такой ситуации — то, что чем больше мы понимаем, что к чему, тем лучше мы сможем исправить ошибки. Если мы хотим, чтобы дети поняли дроби, нужно придумать разные способы использования дробей.

Чувствую, что сам начал понимать разницу между дробью как числом и дробью как оператором. Выражение $1/2 + 1/3 = 5/6$ может означать: 1) $1/2$ единицы плюс $1/3$ единицы равно $5/6$ единицы; 2) $1/2$ чего-то плюс $1/3$ того же равно $5/6$ того же, совершенно независимо от того, что это такое.

Но подождите минуту. Разве все числа не операторы? Когда мы говорим: $2+3=5$, разве мы не подразумеваем, что 2 чего-то плюс 3 того же равно 5 того же? Короче, когда мы учим арифметике, разве мы не учим одновременно алгебре? И не происходят ли все наши трудности от того, что мы этого не осознаем? Значит, если мы пишем $2+2=4$, мы подразумеваем, что $2x+2x=4x$.

Мы привыкли к тому, что не можем складывать дроби, пока у них разный знаменатель. Но это же относится и к целым числам. 2 лошади+2 лошади=4 лошади, но 2 лошади+3 грузовых поезда=чему? Наверное, 5 объектам, 5

вещам. Тем самым мы присваиваем лошадям и грузовым поездам общий знаменатель. (Три года спустя я написал на доске в первом классе, ничего предварительно не объясняя: $2 \text{ лошади} + 3 \text{ коровы} = ?$ И несколько ребят написали ответ: 5 животных.)

Я давно подозревал, что в «понимании» арифметики кроется нечто большее, чем видно поверхностному взгляду, а теперь понимаю, насколько это «нечто» велико. В «простой» арифметике простого нет. И мысль о том, что любая добрая, симпатичная женщина может научить детей «понимать» арифметику, просто нелепа.

Скоро мы убедились в нелепости и другой мысли: что доктора математических наук могут дать детям «понимание» арифметики. Ни одна широко разрекламированная революция в обучении математике в школе под эгидой кого-либо из профессоров не принесла коренного улучшения; безусловно, они дали некоторые неплохие идеи по мелочам, но иной раз даже приносили вред.

Я очень сомневаюсь, чтобы можно было научить кого-то понимать что-либо, то есть видеть взаимоотношение между отдельными частями и формировать мысленно модель структуры. Мы можем сообщить имена и даты, но не можем никому передать наши ментальные структуры. Каждый человек должен выстроить их сам. Многие высказывают мнение, что любая отрасль знаний или опыта может быть преобразована в ряд вопросов и ответов что составляет основу программированного обучения. Один ученик одиннадцатого класса, обучавшийся год или два таким образом, как-то сказал мне, не подозревал, что раскрывает основной недостаток этого метода: «Когда мне задают вопросы, я могу вспомнить большинство ответов, но никогда не помню самих вопросов». В этом все и дело.

8 марта 1959

Изучение дробей в этой школе основано на принципе: если дети будут изображать дроби графически, на рисунках, они постигнут суть и не сделают ошибок. На одном уроке я увидел практическое использование этого принципа. Пат решала задачу: $1/2 + 1/3 = ?$ Она подумала минутку, изобразила два треугольника и разделила каждый из них на три части. Потом заштриховала две части одного из них и подписала: « $1/2$ ». Потом заштриховала одну часть второго треугольника и написала: « $1/3$ ». Затем изучила рисунок и написала: « $1/2 + 1/3 = 1 \text{ целое}$ ». И, радостная и довольная, откинулась на спинку стула.

Эстер написала: « $1/2 + 1/3 = 3/4$ ». Ее соседка Барбара тут же заметила: «Нет! $1/3$ — это не $1/4$ ». Через секунду-другую я сообразил, что она имела в виду. Поскольку $1/2 + 1/3 = 5/6$, $1/2 + 1/3$ никак не могло быть равно $3/4$. Это был тот редкий случай, когда ребенок мог проверить результат разными путями.

Я как-то спросил Монику, сколько третьих частей содержится в целом. Она ответила: «Смотря какое целое — большое или нет». Интересно было бы

знать, сколько наших учеников втайне разделяет это убеждение? Вслух они этого не скажут, нельзя, но про себя?..

Иногда Пат обнаруживает здравый смысл в понимании дробей. Я спросил ее: «Ты предпочла бы съесть одну треть или одну четвертую часть чего-нибудь?» Она мгновенно отреагировала: «Смотря чего...»

Сразу после каникул во второй половине уроков я раздал всем палочки и попросил с их помощью определить, сколько будет $1/2 + 1/3$. Никаких пояснений я им не дал. Тем не менее большинство учеников, покрутив палочки так и эдак, нашли палочки длиной 6 см или составили палочки длиной 12 см, нашли $1/2$ и $1/3$ этой длины, сложили их и выдали ответ: $5/6$. Я почти боюсь повторить задание. Думаю, некоторые ученики выполняют действие и без палочек, но большинство — нет.

Бетти сказала: « $2/4 + 3/5$ составляют 1 или больше. Нам понадобятся $2/5$, чтобы дополнить $3/5$ до 1, но $2/4$ больше $2/5$, значит, сумма будет больше 1». Поразительный ребенок! А в обычной школе ее сочли бы ученицей с замедленным процессом мышления (насколько я знаю, позже некоторые ее учителя математики так и считали). Ей нравилось рассматривать вещи с разных точек зрения, обдумывать смысл того, что она собиралась сделать. Естественно, на это требовалось время, и она не успевала за классом.

Позже она спросила кого-то: «А сколько будет одна треть от 20, только без половинок?»

Потом класс решал как-то задачу $1/2 + 1/4$, и я прислушивался к их комментариям.

Ральф. Это будет $3/4$, но не спрашивайте меня почему.

Гил. Складываем 1 и 1 и получаем 3?

Бетти. Нет, я делаю не так, а та-а-ак!

Затем мы складываем $1/5$ и $3/10$.

Бетти. В ответе будет $5/10$ или $1/2$.

Гил. Но 5 — не половина от 10 и 10 — не половина от 3.

Джейн рассуждает задумчиво сама с собой:

«8 входит в 24 три раза. А сколько раз 3 входит в 24?» Сообразила не сразу. Несмотря на строжайшее запрещение говорить «входит» в смысле «содержится», все дети без исключения так говорят.

24 апреля 1959

Если дети начинают чувствовать, что вселенная не имеет смысла, это может возникнуть потому, что слова, которыми мы говорим о ней, кажутся бессмысленными или, по крайней мере, есть противоречия между тем, как мы ощущаем вселенную и как мы о ней говорим.

Одна из основных задач, стоящих перед учителями, — дать детям инструмент — язык, для того чтобы учиться, думать и говорить о мире, в

котором мы живем. Вернее, мы пытаемся помочь им совершенствовать инструмент, которым они уже располагают. Мы как бы исходим из того, что этот язык как инструмент совершенен, и детям остается только научиться правильно им пользоваться — как мы. Фактически во многом это самый несовершенный инструмент. Если бы мы лучше осознавали несовершенство нашего языка, его несоответствие законам той вселенной, которую он призван описывать, парадоксы и противоречия, изначально ему свойственные, то смогли бы правильно сориентировать детей, помочь им увидеть расхождения между словами и опытом и, возможно, указали бы им способы использования языка, в какой-то мере помогающие преодолеть его ограничения.

Посмотрите на прилагательные. Некоторые из них носят абсолютный характер: круглый, голубой, зеленый, квадратный. А другие — относительный: длинный — короткий, тонкий — толстый, легкий — тяжелый, высокий — низкий, близкий — далекий, легкий — трудный, громкий — тихий, горячий — холодный. Ни одно из них не имеет абсолютного смысла. Длинный и короткий означают только более длинный или более короткий, чем что-то другое. Но мы используем эти слова в смысле абсолютных. Наверное, много раз дети слышали, как что-то называли вчера длинным, а сегодня коротким, час назад горячим, а сию минуту — холодным. Мы используем слова, как будто их значение фиксировано, в то время как оно постоянно изменяется. Суп, который взрослым кажется холодным, будет горячим для маленького ребенка. Карандаш, отвергнутый сегодня потому, что он короткий (для каких-то конкретных целей, может быть и не связанных с его прямой функцией), завтра будет назван длинным. Котенок по имени Ночка уже довольно большой, подрос, но детям не разрешают его тискать слишком активно, ведь он еще маленький. Лошади — крупные животные; но вот ребенку предлагают посмотреть на эту маленькую (раза в три больше самого ребенка) лошадку. О-о, какой ты большой вырос! Но ездить на этом велосипеде тебе нельзя: ты еще маленький. Дети привыкают к подобной неразберихе, но то ли по причине несокрушимого душевного здоровья, то ли махнули на все рукой? Нужно ли объяснять первоклассникам, почему вот эту гору мы называем маленькой, а вот этого котенка — большим? Или им уже все ясно?

Изучение грамматики способствует увеличению неразберихи. Мы говорим о значении и использовании существительных и прилагательных в том смысле, что они резко различаются, но на практике у них оказывается много общего. Зеленый мяч, зеленая башня, зеленый велосипед, зеленый плюшевый зверь — все они игрушки (существительное) и все зеленые (прилагательное). То есть они отнесены к одному общему классу по признаку цвета — зеленый — и по признаку предметов — игрушки, то, что предназначено для игр. Почему мы ожидаем от детей способности разграничивать эти классы по их характеристикам? Почему зеленый цвет мячика — нечто иное, отличное от его свойства быть мячиком? Я не улавливаю никакой разницы между ними. Оба они несут ту или иную информацию о предмете. Мы говорим детям, что

разница между разными частями речи — в их смысле, когда он имеет отношение к их использованию в предложениях.

30 апреля 1959

На вопрос, как он решает примеры на действия с дробями, Нат ответил: «Я обнаружил, что они всегда имеют какую-то диагональную форму». Это был результат его усилий найти правило, действительное всегда, вне зависимости от того, что представляют собой дроби. Элейн при сложении дробей всегда складывает числители с числителями, знаменатели со знаменателями (ведь + означает сложение).

Как-то раз я наблюдал, как этот же Нат решает пример $1/3 + 1/4 = ?$ Начал он с того, что выписал ряд дробей, кратных $1/3$: $2/6$, $4/12$, $8/24$ и т. д. Потом то же самое для $1/4$: $2/8$, $4/16$, $8/32$. И не мог найти общего знаменателя. Сэм должен был показать ему, что $1/4$ можно представить как $6/24$.

Уж эти правила! Иногда дети напоминают неопытного солдата в танке, мчащегося по полю. Они обозревают мир через узкую смотровую щель, намечают цель и бросаются на нее, но упаси Боже им попасть на кочку: щель перемещается, цель исчезает; все потеряно! Они не имеют понятия, откуда начали, как далеко заехали и где они вообще находятся.

Первоклассник решает столбец примеров в рабочей тетради. Даны ответы, некоторые правильные, другие — нет, нужно лишь соответствующим образом их отметить. Ученик отмечает первые три ответа как правильные, четвертый — как неправильный. И все это проделывает так быстро, что учитель интересуется: как же он так скоро вычислил неправильный ответ?

— Ну, в этом месте всегда неправильный ответ.

Правила, выведенные детьми... Я не вижу ничего дурного в попытках детей отыскать правила для решения примеров с дробями, хотя некоторые из них могут показаться довольно странными. В конце концов, даже Кеплер выдвигал спорные предположения, когда в течение 25 лет пытался вывести законы, определяющие движение планет вокруг Солнца. Беда в том, что дети не могут выяснить, правильны ли их законы. Они не могут опереться на реальные факты, внутреннюю логику и непротиворечивость для их проверки. Они идут к учителю с результатами своих трудов и спрашивают: «Правильно?»

Далее, эти их правила бывают настолько причудливыми, случайными и ни с чем не связанными, что, даже изобретя действующее правило и получив «добро» учителя, они редко удерживают в памяти само правило и вид задач, для которых оно справедливо.

15 июня 1959

Кажется, ученики в школе прибегают к довольно логичной стратегии; даже хорошие ученики используют ее очень часто, плохие же — все время. И все без исключения пользуются ею, будучи в стрессе. Определяя ее коротко, можно сказать, что она ориентирована на ответ, а не на задачу. Разницу можно пояснить на примере подхода двух учеников к одной задаче.

Человек, ориентированный на задачу, видит эту задачу как некое определение ситуации, в котором отсутствует одна из деталей. Другими словами, в этой ситуации имеется соотношение или следствие, не указанное в условии задачи, и именно это следует найти. Человек обдумывает ситуацию, воссоздавая ее в уме. Когда он видит ее целиком, ему становится ясно, что опущено в условии задачи, и ответ приходит сам собой. Ответ на любую школьную задачу заключен в самой задаче, его лишь надо увидеть. Нечто вроде подстановки недостающего кусочка в головоломку. Взглянув на пустое место в головоломке, вы уже знаете форму недостающей детали.

Но большинство школьников ориентировано не на задачу, а на ответ. Для них задача представляется своего рода объявлением, что далеко-далеко, в таинственной Стране Ответов, существует некий ответ, который они должны отыскать. Поиски будут тем успешнее, чем лучше удастся истолковать поведение учителя. Младшие ученики — просто мастера этого дела. Достаточно прикинуться сконфуженными или перепуганными, и учитель послушно скажет все, что они хотят знать. Это называется «помочь ребенку». Те, кто посмелее, отважно отправляются в Страну Ответов в поисках клада — ответа. Для них проблема заключается в том, чтобы получить руководящие указания — намеки или признаки, что-то вроде стрелок и надписей на пиратской карте: найти большой дуб, отмерить сто шагов в направлении скалы и прочее. Эти исследователи думают: «Сделаю-ка я вот так, как в последний раз!» И если задача аналогична предыдущей, а память хорошая, им удастся получить правильный ответ.

Предположим, задача такая: «Энн тремя годами старше Мэри, а вместе им 21 год. Сколько лет каждой из девочек?» Ученик, ориентированный на задачу, представляет себе обеих девочек. Они большие? Вряд ли, сумма лет маленькая. Им что-то около 10. Используется дополнительная информация — Энн старше на 3 года, и вот они вырисовались — девочки 9 и 12 лет.

Тот, кто ориентирован на задачу, может использовать формулу. Он легко сообразит, что девочки были бы ровесницами, будь Энн моложе на 3 года, и тогда им обоим было бы $(21-3)$ лет. Можно записать $Э+М=21$; $М+М+3=21$; $2М=18$; $М=9$; $Э=12$. То есть ответ **вытекает из самой задачи**, а не берется из памяти.

Что до ученика, ориентированного на ответ, предположим, он не снисходит до уламывания учителя или угадывания его мыслей. И ход его рассуждений будет примерно таким: «Посмотрим, как бы подойти к этой задаче. У нас же было что-то похожее... Ага, вспомнил, что-то записывали о

возрасте, пусть возраст Мэри будет x , тогда возраст Энн, я думаю, будет $x+3$; что же дальше? Попробуем их сложить, $x+x+3 = 21$; ага, перенесем 3 за знак равенства — это значит вычтем 3...» — и так далее, пока он не получит правильный ответ и не покажет его учителю: «Правильно?» Но этот ответ извлечен **откуда угодно, но только не из условий задачи**, и логика здесь ни при чем, только память.

Практически все, что мы делаем в школе, делает детей в итоге ориентированными на ответ. Во-первых, нужны правильные ответы. Школы — это своего рода места почитания правильных ответов, и чем больше правильных ответов возложено на алтарь, тем лучше ученик. Во-вторых, не исключено, что и учителя, особенно математики, рекрутируются из славного племени ориентированных на ответы. Они делают так, потому что их учили делать так, или они где-то вычитали, что нужно делать так, или они просто привыкли так делать. В-третьих, даже учителя, изначально не ориентированные на ответ, не видят разницы, как это было со мною в течение многих лет, между ориентацией на задачу и на ответ или не придают ей большого значения. И поэтому их методика обучения детей и прежде всего сами объемы заданий, выдаваемых ученикам, просто толкают их к стратегиям, ориентированным на ответ, потому что ни на что другое времени не хватает. Я часто замечал, что при небольшой нагрузке дети охотно задумываются о чем-либо; у них есть время обдумать вещи; когда учебная нагрузка возрастает, начинаются жалобы: «Я этого не понял!», дети перестают думать и ждут, что им все разжуют и в рот положат. Так что стремление к «более высоким стандартам» оборачивается чрезмерными нагрузками на ум детей, и им становится некогда думать.

Как-то раз я занимался с шестнадцатилетним мальчиком, у которого возникли трудности с физикой на первом курсе колледжа. Я предложил ему решить одну задачу из книги. Он тут же написал в тетради аккуратным столбиком:

Дано:

Найти:

Использование:

и начал трудолюбиво заполнять строки массой букв и цифр. Я его остановил: «Подожди, ты даже не знаешь, что это за задача; ты обдумай ее немного перед тем, как писать». Он возразил: «А наш преподаватель требует, чтобы мы решали все задачи именно так». И вся недолга! Несомненно, этот учитель скажет, что хочет побудить своих учеников думать о задачах, и эту железную форму записи он внедрил исключительно затем, чтобы они думали. Но ему и в голову не пришло и, наверное, никогда не придет, что эта форма абсолютно лишена содержания и стала частью ритуала, нацеленного на поиск ответа без участия мышления.

Когда на детей не давит необходимость выдать правильный ответ, да еще в кратчайшее время, они способны делать удивительные вещи. В прошлом семестре на уроке после полудня я предложил ученикам решить несколько

задач. «Вы никогда не решали таких задач, — сказал я, — вы не знаете, как их решать, и мне безразлично, получите вы правильный ответ или нет. Мне важно посмотреть, как вы их будете решать». Это были простые алгебраические задачи, типа задачи о Мэри и Энн, или о некотором количестве никелей и даймов, которые нужно было добавить к 85 центам, короче, задачи, так трудно воспринимаемые учениками, приступающими к изучению алгебры. Мои пятиклассники вгрызлись в них, продемонстрировав воображение, изобретательность и здравый смысл — короче, интеллект. Они предложили несколько путей решения, в том числе и те, о которых я и не подумал бы. К сожалению, как раз в это время школьное начальство выразило беспокойство по поводу наших неспешных темпов, и дети быстро вернулись в наезженную колею. Не исключено, что насовсем.

1 октября 1959

Недавно д-р Гаттенъ провел показательные уроки в школе Лесли-Эллис. Это было незабываемо. Мне посчастливилось быть зрителем самых необычных и трогательных спектаклей в моей жизни.

Для уроков была выбрана группа, состоявшая из детей с серьезным отставанием в умственном развитии. Это были пять-шесть детей в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Некоторые из них выглядели вполне нормальными, только их лица были лишены выражения. Я обратил внимание на высокого бледного темноволосого мальчика, сидевшего в конце стола. Мне редко приходилось видеть лица, в которых было бы столько страха и напряжения. Он бросал взгляды по сторонам, как птица, ожидающая появления врагов откуда угодно в самый неожиданный момент. Он проводил языком во рту, то под одной щекой, то под другой. Его рука под столом не просто чесала, а терзала ногу. И жуткое, и жалкое зрелище.

Гаттенъ начал работу без всяких вступлений и подготовки. Если у вас есть под рукой палочки, вы сможете более наглядно представить себе, что происходило на этом уроке. Сначала он взял в руки две голубые (9) палочки (объяснение см. на с. 213) и расположил между ними темно-зеленую (6) так, что над темно-зеленой было пустое пространство 3 см длиной. Он предложил группе сделать то же самое. Они сделали. Потом он сказал: «А теперь найдите палочку, которая заполнит этот промежуток». Я не знаю, что делали другие дети, потому что наблюдал за темноволосым мальчиком. Его движения были судорожными, лихорадочными. Выбрав палочку из кучки, он с трудом втискивал ее на место. После нескольких попыток правильное решение было найдено: светло-зеленая (3) палочка заполнила пространство.

Потом Гаттенъ, держа голубые палочки за верхние концы, потряс их, чтобы темно-зеленая палочка выпала, потом перевернул их и разместил так, чтобы в том месте, где была темно-зеленая палочка, образовалось пространство шириной 6 см. Группа сделала то же. И снова они должны были отыскать палочку, чтобы заполнить это пространство. Попробовал ли кто-нибудь из них

выбрать темно-зеленую палочку, которая только что выпала? Нет, никто. Снова выбор методом проб и ошибок. В конце концов было обнаружено, что нужна темно-зеленая палочка.

Гаттеньо снова потряс свои палочки, чтобы из композиции выпала светло-зеленая палочка, оставив после себя пространство размером 3 см. И снова дети упорно трудились, выясняя методом проб и ошибок, какую палочку надо подставить на это место. Подбор производился, казалось, совершенно без системы.

Как ни трудно в это поверить, но Гаттеньо понадобилось повторить этот процесс четыре- пять раз, пока кто-то из них не догадался, что существует гораздо более простой способ выбора. Тем временем я думал: «На что же это должно быть похоже — так мало понимать окружающее, так слабо чувствовать регулярность, упорядоченность, разумность вещей». Только буйное воображение могло помочь нам ощутить себя в положении этих детей. Дело не в незнании того или иного факта; человек должен ощутить, что оказался в той вселенной, где живут маленькие дети, то есть месте причудливом и непредсказуемом, где ничто ни с чем не связано; но в отличие от маленьких детей эти недоразвитые дети остро ощущают враждебность своей вселенной.

И тут я обнаружил, что темноволосый мальчик увидел суть! Что-то щелкнуло в его мозгу, и он сразу, без колебаний протянул дрожащую от возбуждения руку к нужной палочке. Он едва мог втиснуть ее на свободное место. Сработало! Язык снова заходил под щеками, а рука принялась терзать ногу с удвоенной силой. Когда пришло время перевернуть палочки, освободить пространство и заполнить его снова, он от волнения не мог сразу взять нужную ему палочку; но вот все сделано. Он громко сказал: «Она подходит! Она подходит!» — и торжествующе показал всем палочки в своей руке. Многие из нас были тронуты до слез его возбуждением и радостью. Мы просто воочию увидели скачок, происшедший в его сознании.

Через некоторое время Гаттеньо проделал эти же манипуляции с палочками малинового (4) и желтого (5) цвета между двумя голубыми палочками. На этот раз темноволосому мальчику понадобился всего один цикл, чтобы сразу взять правильные палочки. На этот раз он был спокойнее, увереннее: он знал.

Затем с помощью палочек Гаттеньо показал детям, что мы имеем в виду, говоря, что одна вещь равна половине другой. Он взял белую (1) и красную (2), потом красную и малиновую (4) палочки, чтобы продемонстрировать значение понятия «половина». Потом он предложил детям отыскать половины палочек другого цвета, и темноволосый мальчик справился и с этим заданием. В конце занятия Гаттеньо показал коричневую (8) палочку и предложил найти половину половины этой палочки, и темноволосый мальчик справился и с этим заданием.

Я не мог не почувствовать тогда, да и сейчас так считаю, что независимо от величины его IQ и обычной реакции на явления жизни этот мальчик продемонстрировал во время урока высокий уровень интеллекта. Если подумать о том с чего он начал и чем окончил, о громадной территории

математики, которую он одолел за какие-то сорок минут, станет ясно, что в нем скрыты исключительные способности.

И какая это трагедия его жизни, что он, скорее всего, никогда больше не встретится с человеком типа Гаттеньо, кто осознал, что его призвание — вступать в контакт с интеллектом своих учеников везде и всюду, где это возможно, кто одарен достаточными интуицией и воображением для своего дела. Ему не довелось много работать с умственно отсталыми детьми, но он мгновенно увидел то, на что другой учитель в лучшем случае затратил бы годы, а в худшем — так и не понял бы: чтобы вступить в контакт с интеллектом этих детей, дать им твердую почву, на которой они могли бы утвердиться и двигаться вперед, нужно проделать путь назад, к истокам узнавания и понимания. Но Гаттеньо показал и кое-что еще. Равно важный момент, своего рода уважение к этим детям — убеждение, что в соответствующих обстоятельствах они могут проявить и проявят первоклассный интеллект. В его манере поведения не было снисходительности или жалости, не было даже следа симпатии. В течение этого урока он и дети были коллегами, работающими над трудной задачей и в конце концов решившими ее.

*Возможно, не все правильно поймут цель моего рассказа. Многие люди, читая, как Гаттеньо работал с этими детьми, решают, что мне хотелось сказать: если бы он потратил на них побольше времени, то мог бы сделать их сообразительными. Между тем я хотел сказать совсем не то. Я сказал, что они **уже сейчас** сообразительны. Гаттеньо на какой-то час предоставил в их распоряжение мини-вселенную, в пределах которой они могли тренировать имеющийся у них интеллект; мини-вселенную, где они могли создавать что-то реальное и сами проверять, работает ли то, что они создали.*

Многие люди, поняв в конце концов, что человеческий интеллект в широком смысле является в высшей степени изменяемым, могут прийти и приходят на самом деле к неверному заключению, что детей можно «научить» интеллекту, как учат математике, языку или истории, по принципу: «Я знаю что-то, что вы тоже должны знать, и собираюсь заставить вас выучить это». Дети неизменно противятся такому обучению.

Мы не должны учить людей сообразительности. Они изначально сообразительны. Мы должны только перестать делать их тупыми.

Изобретательные учителя, «талантливые» учителя, учителя-новаторы, придумывающие новые и лучшие методы обучения, могут приносить ученикам столько же вреда, как учителя-традиционалисты, цепляющиеся за учебники, — **если они не прекратят учить, учить до бесконечности. Они напоминают добросовестного человека, которого попросили подтолкнуть легковую машину, чтобы она завелась. Он пыхтит, напрягается, сталкивает машину с места; вот она катится, и двигатель заработал. «Спасибо большое! — говорит водитель. — Дальше я сам». — «Нет, вы не можете сами! — настаивает доброхот. — Машина не двинется, если я не буду ее толкать».** Если водитель добр и нерешителен, машина катится дальше

черепашьим шагом; если же он нетерпелив и жесток, то нажимает на акселератор, машина вихрем уносится вперед, а доброхот остается лежать на дороге. Дети слабее взрослых: большинство из них **не могут** покинуть учителя.

Изобретатели умных методик придерживаются мнения, что если благодаря одной идее удастся чему-то научить, то благодаря сотне хороших идей удастся научить в сто раз большему. Ничего подобного. Сотня хороших идей способна остановить обучение.

Мне — школьному учителю — понадобилось много времени, чтобы заметить закономерность: в те дни, когда я являлся в класс, переполненный грандиозными идеями, касающимися обучения, редко происходило что-то заслуживающее внимания. Дети, с их быстротой и точностью восприятия, сразу улавливали, что я какой-то странный, «не тот». Я уже не был сорокалетним учителем, находящимся в комнате с десятилетними учениками, я превращался в «ученого», экспериментирующего с подопытными животными. И в класс я пришел не затем, чтобы поговорить о вещах, интересующих меня или их, и порадоваться нашей общей работе, а чтобы проделать над ними опыт. Они мгновенно возвращались к испытанной оборонительной стратегии и маневрам уклонения. Снова взгляды украдкой, упрямые о подсказке, и жалобное: «Я не понимаю!» Они глумились на глазах.

К тому времени, когда я учил свой последний пятый класс, я достаточно поумнел, чтобы при первых признаках оборонительной стратегии оставить в покое мои великие проекты и вернуться к нормальной, естественной и честной манере поведения в классе. Если же мне случалось раздобыть какую-нибудь новинку для детей, я спокойно пристраивал ее в уголке и помалкивал, пока любопытные не начинали меня расспрашивать, что это такое и для чего оно. Если же мне нужны были какие-то действия, я сам их проделывал, ничего не говоря. Наверное, то, что неинтересно мне, не заинтересует и их, и я не пытался заставлять их делать вещи, нагонявшие на меня скуку. Но уж то, что мне нравилось и удавалось, я проделывал в классе с удовольствием.

14 февраля 1960

Я вручил Эдварду пригоршню палочек и спросил: «Сколько тебе понадобится белых (1) палочек, чтобы составить равное число?» Он разложил палочки в ряды по 10 см; получилось 15 таких рядов и еще одна малиновая (4) палочка. Потом он начал считать ряды, отсчитывая сразу десятки — вполне разумно — и говоря: «10, 20, 30...» — и так до 100. Потом, перейдя к остальным рядам, он сказал, к моему изумлению: «200, 300, 400, 500, 600, 604».

Я попросил его повторить. Он сообразил, что допустил ошибку, досчитал, как и прежде, до 100 и продолжал: «101, 102, 103, 104, 105, 109». Этот вариант его не удовлетворил. Он принялся считать снова. На сей раз перед тем, как

считать ряды десятков, он сказал: «Я буду считать каждый ряд единицей». Тем не менее, досчитав до 10-го ряда включительно, он решил, что досчитал до 1000, в каждом последующем ряду прибавлял 100, закончил где-то за 1500. Опять не понравилось. Подумал немного, вернулся к первоначальной системе, досчитал несколько раз до 604 и уверился окончательно, что получил правильный ответ.

Я разделил все палочки на две части: десять рядов по 10 см — в одной из них и пять таких же рядов и малиновая палочка — в другой — и спросил: «Сколько белых палочек (1) будет в каждой части?» — «100 — в большой, 54 — в меньшей», — ответил Эдвард. «А вместе?» Я соединил две части. Он повторил тот же ритуал счета и выдал сумму: «604».

И тут до меня дошло, что мой вопрос представляется ему бессмысленным. Используя палочки, я пытался довести до учеников понятие числа. Из ответов Эдварда я понял, что палочки в его глазах — одно, а числа — совсем другое.

Должен сказать, что Эдвард был одним из самых неуспевающих учеников, он отставал от класса по всем предметам, а уж по арифметике — особенно. Если бы он справлялся со школьными заданиями по арифметике, я не задумался бы о его понимании.

Что я мог, должен был бы сделать? Дать ему огромное количество белых (1 см) палочек, чтобы он попытался выложить самое большое число, которое поместится на его столе. Столько палочек у меня не было. Можно было бы заменить их деревянным метром или мерной лентой с сантиметровыми делениями, чтобы он мог проверить свои идеи. Но для начала мне нужно было втолковать ему, если это имело смысл, что данное количество белых (1 см) палочек, скажем, 6, в общей сложности действительно составляет ряд длиной 6 см, равный 6-сантиметровой палочке. Палочки должны были помочь согласовать понятие числа как количества (6 палочек в 1 см, 5 палочек в 1 см) с понятием длины — 6 см и 5 см. Это было понятно мне. А вот Эдвард этого не понимал.

Какими путями шла его мысль, я никогда не узнаю. Я задал ему вопрос, в ответ он должен был назвать число. Он знал, что палочки ассоциируются с числами. Должно быть, он собирался поманипулировать с числами так или сяк в надежде набрести на ответ, который меня устроит. Он не умел использовать реальную действительность, воспринимаемую его органами чувств, для получения ответа или проверки полученного результата. Только через год я продумал задачи, которые должны научить детей проверять результаты практикой. Но об этом в другой раз.

Я убрал малиновую палочку, снова разделил другие палочки на две части — 100 и 50 — и спросил: «Сколько в каждой?» Он ответил правильно. «А вместе?» — «600!»

Я выдвинул 10 рядов. «Сколько?» — «100». Добавил одну белую палочку. «А теперь?» — «101». Еще одна белая палочка. «Теперь?» — «102». И так до

109. Но когда я добавил еще одну белую палочку, дополнив 11-й ряд до 10, то услышал: «200».

Что делать? Я выдохнул: «На сегодня достаточно».

Прежние учителя Эдварда очень много ему «помогали», особенно по арифметике. Помощь заключалась в том, что в него вдалбливали образцы решения задач, и никто не озаботился узнать, как и я не делал этого годами, что он знает о числах, какова его модель мира чисел и как она работает. В спокойном состоянии этот мальчик помнит много образцов и может их применять, в этом смысле он далеко не худший в классе. Но это мнимое знание.

Различие между мнимым и истинным знанием необходимо знать, это очень важно, но многие учителя не подозревают о его существовании. Они считают: если ученик не знает умножения, ему нужно показать, как это делается, и дать ему поупражняться. Он делает ошибки? Объясняем еще раз и даем новую порцию упражнений. Если эту процедуру повторили раз 10, а ученик продолжает делать ошибки, значит, он либо не способен, либо не хочет учиться; другой вариант — он либо тупой, ленивый, неорганизованный, либо с эмоциональными отклонениями.

Как тут не вспомнить о добром старом правиле, действующем во всех школах, независимо от их статуса: если ученик учится хорошо, это заслуга школы; если он учится плохо, это его вина. Формулировки меняются со временем, сейчас никто не скажет: плохой и тупой, но «с пробелами в культурном воспитании» или «не способный к усвоению материала», но суть остается прежней. Ответственность за свои дела учителя и школа признают, только если результаты их устраивают.

Мы не понимаем, что ребенок может быть не способен к обучению потому, что не воспринимает смысл тех основных символов, с которыми работает. Если сами числа лишены для него смысла, действия с ними тоже бессмысленны. Учить таких детей умножению, делению и т. д. — все равно что строить десятиэтажный дом на фундаменте из старых картонных коробок. Хоть как старайся, ничего не выйдет. Сначала надо заложить прочный фундамент. Дети, подобные Эдварду, а таких немало, не оказались бы в этом незавидном положении, если бы их учителя с самого начала старались строить медленно и надежно, а не «проходили» материал галопом.

Как-то я предложил ученикам подобрать пары чисел, в которых меньшее составляло бы $\frac{1}{5}$ от большего. Эдвард написал 1 и 5, потом 5 и 25. Потом он посмотрел на 1 и 5 повнимательнее. А что, если попробовать прибавлять по 1 к каждому числу? Получатся пары: 2 и 6; 3 и 7; 4 и 8 и так далее. Он принялся все это записывать. Исходная задача была давно забыта; неуправляемая повозка его мышления скатилась с намеченной колеи и покатила божьего знает куда.

Одна из причин трудностей при проверке своей работы, встречающихся у учеников такого типа, как он, заключается в их неспособности видеть и помнить две разные вещи: что они должны делать и что они действительно делают. Фокус внимания Эдварда перемещается так медленно, что в тот

момент, когда он осознаёт, что ему *полагается* делать, он полностью выпускает из вида, что делает сейчас, и наоборот. Иногда я представляю себе, как он набирает номер телефона. Перед ним лежит бумажка с номером. Заглядывая в нее, он начинает набирать. Набрав две-три цифры, он снова смотрит в бумажку: что там дальше? Пока смотрел в бумажку, забыл, что успел уже набрать, и все начинается сначала. Может быть, с телефоном-то у него как раз все в порядке, но примеры и задачи он решает именно таким образом. Я часто слышу, как он бормочет: «На чем же я остановился?»

Когда я предложил ему подобрать пары чисел, одно из которых составляет половину второго, он принялся писать: 1 — половина 2; 2 — половина 4; 4 — половина 6; 6 — половина 8. То же для чисел, одно из которых составляет одну треть другого: 1 — $\frac{1}{3}$ от 3; 3 — $\frac{1}{3}$ от 6; 6 — $\frac{1}{3}$ от 12; 12 — $\frac{1}{3}$ от 18. Для $\frac{1}{4}$: 1 — $\frac{1}{4}$ от 4; 10 — $\frac{1}{4}$ от 40; 40 — $\frac{1}{4}$ от 70; 70 — $\frac{1}{4}$ от 100..

Или: 7 — $\frac{1}{2}$ от 14; 14 — $\frac{1}{2}$ от 21; 21 — $\frac{1}{2}$ от 28... То есть он не воспринимает соотношения между двумя числами дальше сложения.

Эдвард привык к тому, что на уроках арифметики умом не блещет, потому что никогда не понимал, что делает на этих уроках. Бездумное поведение стало привычкой. Попробуй заставь его думать сейчас! Но, вспоминая Гаттеню и умственно отсталых детей, я хочу надеяться, что еще не все потеряно. Интеллект можно разрушить, но, вероятно, его можно и восстановить.

3 марта 1960

Эта запись свидетельствует о том, что я уже кое-чему научился с 14 февраля.

Ребенок, который действительно чему-то научился, может использовать свои знания и использует их. В его мозгу это становится связанным с реальностью, следовательно, при случае могут образоваться и другие связи этого знания с реальностью. Знанию, не связанному с реальностью, не за что уцепиться, оно изолировано, и использовать его нельзя.

Наши первоклассники используют палочки. Они знают их по названию и по длине. Они называют оранжевую палочку десяткой, это плохо, но искоренить это мы не можем. Они могут считать до 100 и дальше. Им рассказали обычную школьную мудрость: единицы, десятки и т. д., и некоторые из них уже повторяют все это. Как-то я решил проверить, как они понимают и используют тот факт, что, например, число 38 можно представить с помощью трех оранжевых (10) палочек и одной коричневой (8) палочки. Я спрашивал их по очереди, какой длины должен быть ряд белых (1) палочек, чтобы представить число 38. Одна маленькая девочка сразу взяла три оранжевые и одну коричневую палочку, выложила их в длину и удивленно посмотрела на меня: что тут сложного? Но каждый второй ученик, не исключая и самых способных, пытался выложить это число из белых (1) палочек, без конца сбиваясь со счета.

Это свидетельствует о том, что, даже называя темно-зеленую (6) палочку шестеркой, дети не поняли до конца, что она равна 6 белым, несмотря на то что теоретически они это знают. Шесть — это так называется темно-зеленая палочка; название не имеет никакого отношения к ее длине и к ее соотношению с длиной других палочек. Есть цифры, и есть палочки; и те и другие — символы в соответствующей системе. Решая пример $5+4=?$, они быстренько приложат палочку - «пятерку» к палочке - «четверке», обнаружат, что их общая длина такая же, как у палочки - «девятки», но что эта операция может быть проделана с группами в 5 и 4 однородных предметов, они не понимают.

Некоторые второклассники, решая примеры типа $59+42+35$, почему-то выдают ответы порядка 1200 и больше, не испытывая при этом никаких сомнений. Они не понимают, что 1200 — это слишком много, потому что не представляют, сколько это — 1200. Мы не можем ожидать, чтобы дети сознательно работали с числами и контролировали себя, прикидывая, насколько результат их действий соответствует действительности, если не дадим им представления о величине этих чисел. Возможно, стоит им задавать побольше вопросов типа: какой длины, по их мнению, будет ряд белых (1) палочек, если надо выложить число 38 (или 50, 75, 100, 200, 500, 1000)? Сколько белых палочек понадобится, чтобы заполнить данные прямоугольники, листки бумаги, поверхность стола, пол комнаты? Сколько их понадобится, чтобы заполнить коробки разного размера?

Дети с удовольствием воспринимают всякого рода сокращенные формулировки математических задач, если я объявляю, что мне лень записывать подробно. Во-первых, это правда. Во-вторых, детям дается шанс снисходительно отнестись к моей лени и сделать мне приятное (что тоже правда), приняв мой способ записи. Они не любят, когда им говорят, что определенный символ «значит» то и то. Это звучит непонятно и деспотично. Но если объяснить им соотношения или действие словами, понятными им, они скоро с ними осваиваются и охотно позволяют потом перейти к схематическим выражениям. Например, от формулировки: «Две белые равны по длине одной красной» — мы безболезненно переходим к записи: «2 белых = 1 красной» или « $2 \times б = к$ ».

В конечном счете, люди изобрели математические символы для сокращения записи, так что эти мои действия и логичны, и исторически оправданны. Ни один символ ничего не «значит», пока мы не договорились о его значении, так почему бы и детям не поучаствовать в этом решении?

Мы делаем большую ошибку, заставляя детей символически производить действия, которые они не могли произвести конкретно. Ребенок должен сначала оценить, где больше белых палочек — в группе из 37 или в группе из 28 этих палочек — и насколько больше, а уже потом решить пример $37 - 28 = ?$ и привыкнуть решать такие примеры до того, как ему сообщат правило их решения. И это относится ко всем арифметическим действиям. Правила должны восприниматься детьми как более простой и быстрый способ получения результата, который они уже научились получать другим способом,

а не набор не совсем понятных директив для получения ответов на бессмысленные вопросы.

В целом я и сейчас так думаю. Но сейчас в руках детей оказались дешевые калькуляторы, с помощью которых дети могут исследовать числа и действия с ними. Возьмем простейший калькулятор, выполняющий только четыре арифметических действия, больше ничего, и покажем детям, как с ним работать. Таким образом, объясняя решение примера $3+8=?$, мы говорим: «Включи калькулятор, нажми на клавишу 3, потом на клавишу +, на клавишу 8 и на клавишу = и получишь ответ. То же для умножения и т. д., меняя лишь символ действия. А что это значит? Мы оставляем детей в неведении. Пусть делают что хотят. Наверное, многие будут изобретать собственные задачи и поручать калькулятору решение, и все это без всякой системы. Таким образом, они соберут массу случайной и не имеющей смысла информации, как это происходит при усвоении детьми языка. Но, как и в языке, у них включится интуиция и потребность экспериментировать, чтобы посмотреть, как будут работать числа и действия. Экспериментальным путем они научатся использовать машину для собственных нужд и прогнозировать ее работу.

Короче, они научатся отыскивать смысл, строить собственные логические модели хотя бы для части мира чисел.

16 апреля 1960

На уроках математики у меня в классе сидят шестнадцать человек. Четверо из них откровенно слабы; один тянет на троечку; все другие — исключительно смысленные и сообразительные дети, с хорошими математическими способностями. Я много раз объяснял им разрядное значение цифр.

Однажды я спросил: «Предположим, я отправился в банк с чеком на 1437,50 долларов и, получая деньги, попросил выдать мне эту сумму по возможности десятидолларовыми банкнотами. Они выполнили мою просьбу. Сколько таких банкнот я получил?» Я написал сумму на доске. После тщательных подсчетов в тетрадках ученики выдали ответы. Ни одного правильного. Некоторые просто фантастические. После двух-трех попыток некоторые все же добрались до истины, но большинству эта задача оказалась не по зубам.

Я стер первоначальное число и написал 75,00 долларов. Сколько тут десятков? Ответили все. Стер это и написал 175,00 долларов. Сколько тут десятков? Задача оказалась потруднее, сообразили немногие, а большинство ошиблось. Подождав немного, я спросил, указывая на 7 в числе 175: «О чем мне говорит эта семерка?» Они ответили, что это означает 70 долларов, 7 десятков долларов. Я записал это на доске и спросил: «А единица?» Все дружно сказали, что это — сотня долларов. И никто не сказал, что это — дополнительные 10 десятков к тому, о чем мы только что говорили. «Сколько

десятков в сотне?» Все сказали: 10. Я показал, что эти 10 десятков плюс прежние 7 десятков составят вместе 17 десятков. И потом написал на доске первоначальное число — 1437,50 долларов и — спросил, сколько десятков показывает каждая цифра. Трое сказали, что всего десятков — 3, четверо — что их на 40 больше, и только один — что их еще на 100 больше, а общий результат — 143 десятка. Я обвел кружком три цифры — 143 — в числе

1437. И тут все дружно загалдели: «Ой, и верно, я понял! Сразу видно! Как просто! Верняк!» Но я хранил скептическое молчание: я больше не верил в магическую силу «понятных объяснений».

Через два дня я написал на доске число 14357,50 долларов и спросил, сколько стодолларовых банкнот я смогу получить в банке по этому чеку. Ответы были разные: 43, 17, 107, 142, 604, 34, 13100 и 22. Один ученик ответил правильно. Четверо додумались до правильного ответа до того, как я написал все на доске. Остальные одиннадцать пребывали в шоке. И снова я расписывал на доске, сколько сотен представляет каждая цифра по отдельности и сколько их вместе. Но очень сомневаюсь, чтобы они поняли разрядное значение цифр и на этот раз.

Непонимание этих значений делает деление больших чисел сложным, а то и невозможным для многих детей. Пусть 260 нужно разделить на 5. Мы не можем разделить 2 (две сотни) поровну между пятью людьми, значит, мы должны превратить их в 20 десятков; у нас еще есть 6 десятков, всего получается 26 десятков. 25 из них мы можем разделить между пятью людьми, и каждый из них получит 5 десятков. Остался один десяток, его мы преобразуем в 10 единиц, которые и разделим на 5. Каждому человеку достанется 5 десятков и 2 единицы. Все это объяснение будет воспринято ребенком только тогда, когда он поймет разряды чисел и переход от высших разрядов к низшим; по этой причине для многих детей деление больших чисел так и остается головоломкой без ключа.

В исключительно важной и интересной книге «Как выжить на вашей родине» Джеймса Герндона есть потрясающая глава, озаглавленная «Тупой класс». В этом классе, в котором он преподавал несколько лет, были собраны самые неразвитые дети из всех начальных классов, которые не могли ничему научиться. И среди этой безнадежной компании самым безнадежным был один мальчик, абсолютно не способный ни к чему.

Однажды Джим увидел этого мальчика в кегельбане и с изумлением узнал, что он там официально работает по вечерам, подсчитывая очки в матчах между командами боулеров. Мальчик восседал на вышке между двумя площадками, ведя счет одновременно для обеих команд и зорко следя за положением на площадках. Джим специально подчеркнул, что это место досталось мальчику не в рамках федеральной программы социальной защиты недоразвитых детей. Менеджеры кегельбана нанимали его и платили ему потому, что он считал быстро и точно и нареканий на него никогда не было.

Тогда Джим решил задавать ему в школе задачи «из жизни кегельбана». Мальчик не мог их решить! Его ответы, касающиеся подсчета очков, были не

только неверными, но просто абсурдными. Вполне сообразительный в жизни мальчик, переступая порог школы, превращался в глупца. Остается только сделать вывод, что сама школа, скучная и пугающая, оторванная от реального опыта и серьезных целей, сделала детей глупыми.

20 июня 1960

Каким образом можно определить, понимают дети какие-то конкретные вещи или нет? Когда я учился, то в общем-то знал, что я понимаю и что нет. Это никак не было связано с оценками. Учась на последнем курсе колледжа, я получал вполне приличные оценки по математике, но поближе к окончанию понял, что не имею ни малейшего представления об этом курсе математики. В Колорадо я долгое время считал, что мои ученики отдают себе отчет в том, что они понимают, а что нет. Я всегда настаивал, чтобы они меня предупреждали, когда не понимают, и я своими «умными» объяснениями рассею мрак их невежества. Но они предпочитали помалкивать. На своем горьком опыте я убедился в том, что едва ли один ребенок из сотни знает, понимает он или нет, а уж тем более если не понимает, то не знает почему. Если ребенок это знает, о нем не стоит беспокоиться: это заведомый отличник. Но как нам узнать, когда и что не понимают другие?

Первое, что приходит в голову, — объективная проверка. Но какого рода? И разве мне не приходилось неоднократно наблюдать, как дети непостижимым образом дают правильные ответы, не имея ни малейшего представления о сути своей работы? Они просто следуют правилам, слепо и бессмысленно. Некоторые умудрялись повторять точно мои объяснения, как попугаи, ничего в это не вкладывая. С другой стороны, многие дети настолько парализованы страхом проверок, что никак нельзя узнать истинное положение дел; другие настолько перепуганы и смущены, что теряются и не могут сформулировать то, что понимают.

Частичное решение проблемы — та проверка, которую я устроил в этом году и в которую включил самые разные задачи, подобранные по одному принципу: не дать сработать механизму автоматического поиска ответа и заставить учеников пошевелить своими мозгами. Можно попытаться по-другому сформулировать задачи. Но что делать, если результаты показали, что наши ученики едва ли усвоили что-то из того, чему мы их учили целый год?

Полезно было бы составить в уме образ того, что мы называем пониманием. Мне представляется: я понимаю что-то, если по крайней мере могу: 1) сформулировать мои знания собственными словами; 2) привести примеры; 3) опознать то, что я знаю, в другой форме и обстоятельствах; 4) увидеть связь между ним и другими фактами или понятиями; 5) использовать мои знания различными путями; 6) спрогнозировать некоторые следствия; 7) сформулировать противоположные или обратные утверждения. Это только предварительные наброски, но они помогут нам в будущем отличить

действительные знания учеников от видимости знаний, другими словами, *истинное знание от мнимого*.

Многие скажут, что разницы между ними не существует. Прекрасный способ решения проблемы — сказать, что ее не существует. Этот фокус нашел широкое применение среди психологов. Согласно утверждениям многих из них, если вы можете сказать, что $7 \times 8 = 56$, то знаете все, что следует знать об этом конкретном факте, и никак не меньше, чем любой другой, кто в состоянии это сказать. Математик, ученик третьего класса и хорошо обученный попугай будут обладать полным и совершенно одинаковым пониманием этого факта. Единственная разница между математиком и третьеклассником состоит в том, что математик хранит в памяти массу таких фактов. Поэтому, чтобы сделать из третьеклассников математиков, нужно школить их и доводить до кондиции, чтобы знали много таких фактов. Обучите их говорить всё, что знал Эйнштейн, и вот вам новый Эйнштейн!

Просто удивительно, в какую чепуху могут уверовать люди.

Конечно, это имеет прямое отношение к бихевиоризму, все еще остающемуся в большой моде, несмотря на то что он многого не в состоянии объяснить. Очень удобная теория для учителей, которые пребывают в уверенности, что их работа — приносить и укладывать потихоньку-полегоньку крупицы информации в жадно разинутые клювы учеников, чтобы насытить их пустые мозги знанием; школа же представляется им своего рода поточной линией сборки классически образованных существ, оснащенной вычислительной техникой с запрограммированными командами. На входе — сырой материал, на выходе — готовая продукция со стандартным содержанием.

Но обрывки информации типа $7 \times 8 = 56$ не являются изолированными фактами. Это как бы части ландшафта, территории чисел, и тот является лучшим знатоком этой территории, кто четче всех видит, как эти части вписываются в ландшафт и сочетаются друг с другом. Математик знает, помимо всего прочего, что $7 \times 8 = 56$ иллюстрирует несколько фактов: что произведения, где один из сомножителей — четное число, тоже будут четными; что $7 \times 8 = 14 \times 4 = 28 \times 2 = 56 \times 1$; что только эти пары положительных целых чисел дадут в произведении 56; что $7 \times 8 = (8 \times 8) - 8$, или $= (7 \times 7) + 7$, или $= (15 \times 4) - 4$ и так далее. Он также знает, что это выражение — символ соотношения, принимающего различные формы в реальном мире; например, прямоугольник со сторонами 8 и 7 единиц имеет площадь 56 квадратных единиц. Но ребенок, научившийся повторять как попугай: «Семью восемь — пятьдесят шесть», не будет иметь ни малейшего понятия о его отношении ни к реальному миру, ни к миру чисел. Он сможет опереться только на свою память. Подводит память — и ребенок говорит, что $7 \times 8 = 23$, или меньше, чем 7×5 , или больше, чем 7×10 . Даже зная, что $7 \times 8 = 56$, он не догадывается, что 8×7 — то же самое, или же не может применить свои знания на практике, например вычислить площадь прямоугольника со сторонами 7 и 8, никак не соотнося железно выученную таблицу умножения с реальными действиями.

Знания, изучение, понимание — понятия нелинейные. Это не маленькие кусочки фактов, которые можно выстраивать в ряды или в колонки. Область знаний в любой сфере деятельности, будь то математика, английский язык, история, наука, музыка да и что угодно, — это территория, и чтобы знать ее, недостаточно знать все ее составляющие части, но нужно знать их соотношение. Различие примерно такое же, как между инвентарным перечнем мебели в комнате и картинкой комнаты, как она встает у нас перед глазами, когда мы вспоминаем о ней. Все равно что знать названия всех улиц в городе или уметь из любого места города попасть в назначенное место несколькими маршрутами.

В это я верю еще сильнее, чем раньше, и это мне представляется столь же важным, как любая мысль, изложенная в этой книге.

Почему же мы говорим и пишем об окружающем мире и о наших знаниях, как если бы они были линейными? Это закон жанра. Слова идут друг за другом, а не одновременно; иначе не бывает. Приходится делить единый неделимый мир на маленькие кусочки и нанизывать их на нитку речи или выстраивать в написанную строку. Но не стоит заблуждаться: нитка разговора или строка — не то, что мир. Наше знание не истинно, неполно, неточно и даже бесполезно, пока мы не сошьем эти нити или не выстроим из строк подобие мира, рабочую мысленную модель вселенной, как мы ее знаем. Только создав такую модель, хотя бы в общих чертах повторяющую реальный мир, мы сможем сказать, что что-то узнали и поняли.

В школе процесс учебы строится так, что дети собирают эти нити, эти строки и сваливают их в кучи в своем мозгу, не стремясь их усвоить, но помня, что в какой куче, чтобы их можно было извлечь по требованию. Эти слова ничего не меняют, не входят ни в какую структуру, ни в какие взаимоотношения. Они так же лишены смысла, как слова попугая — для попугая. Как же вернуть школе ее истинное предназначение — давать детям истинные знания, а не закармливать их словами?

Теперь я понял, что, упорно стараясь выяснить, что понимают наши ученики, мы, скорее всего, разрушаем то понимание, которое есть или наметилось. Сначала они должны утвердиться в своем знании и научиться говорить о нем — что практически исключает всех младших школьников, — поэтому стоит поощрять их говорить о том, что они знают и почему они знают, что знают. Лучший способ узнать, что же дети действительно знают (а узнать мы можем самую малость), — дать им свободу делать что им нравится и понаблюдать за ними.

Стоит иногда подсказывать ученикам способы проверить свое понимание или свои идеи, если их это интересует. Но и в этом случае не следует думать, что если один способ самопроверки хорош, то сотня — в сто раз лучше. Лучшие правила — те, которые обучаемые извлекают из собственного опыта.

11 сентября 1960

Когда я навещал своих друзей, они попросили меня позаниматься математикой с их десятилетней дочерью. Я согласился: мы с девочкой были давними друзьями, и мне казалось, что я смогу понять ход ее мыслей. Начали с устного счета. Я собирался спросить ее, сколько будет 2×76 , потом — 2×77 . Мне хотелось посмотреть, как она будет решать второй пример: прибавит 2 или будет решать заново. Но все забуксовало, когда она доложила, что $2 \times 76 = 432$.

Я догадался, где был сбой: она умножила 2 на 6 и 7 на 6; короче, она умножила 6 на 72 и получила правильный — для этого умножения — ответ. Я предложил ей пересчитать, и она снова получила 432, что доказывает нашу тенденцию повторять ошибки из-за неспособности расстаться с наезженной колеей.

Я спросил: «Сколько будет 2×100 ?» — «200». — «А 2×90 ?» — «180». — « 2×80 ?» Пауза. «160». — « 2×76 ?» — «432». — « 2×70 ?» — «140». — « 2×80 ?» — «160». — « 2×76 ?» — «432». — « 2×100 ?» — «200». — « 2×200 ?» — «400». — « 2×76 ?» — «432»... Тут она призадумалась, изучающе взглянула на меня и сказала: «Минутку! Что-то не то». Сорвалась с места, принесла карандаш и бумагу и принялась решать. $2 \times 76 = 152$.

Это был очень важный момент, когда она сказала: «Минутку!» До нее дошло, что мы должны искать ответ не по принципу: «*Правильно или неправильно?*», а по принципу: «*Имеет ли это смысл?*», и тогда мы можем заранее сказать, какой ответ будет заведомо неправильным, потому что несовместим с тем, что мы знаем точно.

Мы еще немного поработали, и она отправилась спать, довольная своими успехами. Позже я рассказал родителям о наших занятиях, чтобы просветить их относительно трудностей, с которыми сталкиваются дети, если они не знают законов мира чисел, а только разрозненные, не связанные между собой факты и правила. Отец девочки сказал, что стал лучше понимать смысл нашей работы с палочками Куизенера, но мать заявила, даже с некоторой долей агрессии, что не понимает эти новые идеи и собирается и дальше продолжать в том же духе, задавая дочери по страничке примеров в день, а за каждый неправильный ответ добавлять пару новых примеров.

Эта реакция удивила и испугала меня. Арифметика в наказание? Это напомнило мне о многих знакомых мне родителях, которые требовали от меня более жестокого отношения к их детям. Для них школа — место узаконенного принуждения и наказания для всех — правых и виноватых. За что они так обижены на детей?

16 октября 1960

Своему новому пятому классу, состоящему из пятнадцати учеников, я задал вопрос: «Сколько понадобится белых (1) палочек, чтобы выложить ряд вдоль стола?» Половина класса использовала для измерения оранжевые (10)

палочки. Остальные, с единственным исключением, начали выкладывать ряд из белых палочек. Когда они кончились, дети стали выкладывать красные (2) палочки, но укладывая их не в длину, а в ширину — как (1). Потом в ход пошли светло-зеленые (3) палочки, тоже выкладываемые подряд в ширину, и так далее до конца стола.

Эти дети работали с палочками более трех недель, привыкли к ним и называли их по длине: например, оранжевую (10) палочку называли десяткой. Знали они и то, что оранжевая по длине соответствует 10 белым, но использовать это в практической ситуации не додумались, хотя это значительно облегчило бы их задачу.

Потом я задал вопрос: «Сколько белых вам понадобится, чтобы покрыть блокнотный лист (что-то порядка 23×15 см)?» Несколько человек принялись заполнять лист палочками, но некоторые из них тут же остановились, поняв, что все ряды одинаковы по длине. Остальные продолжали трудиться до конца. Часть из них подсчитала число рядов и умножила его на длину ряда, другие трудолюбиво суммировали длину всех рядов. Двое тоже выкладывали палочки, но торцами (1 кв. см), независимо от цвета, покрывая таким образом всю площадь листа. Довести работу до конца им не удалось: палочки кончились.

Дороти тоже покрыла лист палочками и заявила, что 44 белых будет достаточно. Число явно было взято с потолка. Я спросил: «Сколько белых понадобится для того, чтобы покрыть одну оранжевую?» — «Около 8». — «Проверь!» Проверила. Нужно 10. «А сколько их нужно, чтобы покрыть 4 оранжевых?» Смотрит на меня и молчит.

30 октября 1960

Вчера мы работали с таблицей умножения. Результаты привели меня в изумление. Каждый ученик начертил таблицу из 10×10 квадратиков, то есть таблица состояла из 10 рядов, по 10 квадратиков в каждом ряду. Сверху и слева таблицы были написаны числа от 1 до 10. Таким образом, каждый квадратик из 100 был пронумерован по вертикали и по горизонтали. Если квадратик был на пересечении 2-го ряда по горизонтали и 3-го по вертикали, в квадратике нужно было написать их произведение, то есть 6. Следовательно, в квадратике, находящемся на пересечении 5-го ряда по горизонтали и 7-го по вертикали, нужно было написать 35, и т. д.

В тетрадке Марджори красовалось: $4 \times 6 = 22$, $4 \times 4 = 20$, $4 \times 7 = 32$, $10 \times 10 = 20$, и тут же $10 \times 2 = 22$. В ряду 8: $8 \times 8 = 48$, $8 \times 6 = 59$, $8 \times 4 = 40$, $8 \times 7 = 49$, $8 \times 9 = 42$. В ряду 7: $7 \times 5 = 35$, $7 \times 8 = 24$, $7 \times 7 = 47$, $7 \times 9 = 45$.

Я не придумываю, клянусь вам!

В ряду 9: $9 \times 9 = 69$, $9 \times 10 = 40$. В ряду 4: $4 \times 8 = 62$, $4 \times 9 = 40$.

Разве здесь дело только в незнании таблицы умножения?

12 ноября 1960

Несколько дней тому назад, когда я работал с Марджори, она оторвалась от своего занятия и сказала: «Можно мне кое о чем вас спросить?» — «Ну конечно, спрашивай». Она сказала, что, когда она складывает на пальцах (тут она смущенно улыбнулась) и ей нужно считать 10, 11, 12, 13 и так далее, иногда она разгибает большой палец на 10, указательный на 11, средний на 12, а в другое время она начинает с 11, разгибая большой палец, дальше следует 12 — указательный палец и прочее. Но один из этих методов ее подводит, и она не знает который. Не мог бы я ей помочь? Я попросил ее привести мне пример задачи, которую она решает таким образом. Она не смогла. Редко кто из таких детей может привести пример.

Образно говоря, ей нужна метла, чтобы навести порядок в ее мозгу. Он жутко замусорен всяким хламом. Нет никакого учета, где что находится, и из всех ящичков и сундучков ее мозга нужно сначала вытряхнуть старое содержимое, чтобы привести их в какой-то порядок. Если ей удастся забыть 9/10 фактов и правил, хранящихся беспорядочно у нее в голове, то ее можно будет чему-то научить.

Как-то я предложил ученикам найти как можно больше глаголов, оканчивающихся на «р». На лице Марджори изобразилась паника. На грани истерики она пролепетала: «Я не понимаю!» Я спросил, ясно осознавая бесполезность вопроса: «Что ты не понимаешь?» Как я и ожидал, она сказала: «Вообще не понимаю». Я повторил задание и велел ей повторить его за мной. Она повторила. Я спросил: «Ты знаешь, что такое глагол?» Нет, она не знала (определение глагола ей повторяли много раз). Я привел ей примеры глаголов, она облегченно вздохнула и принялась за дело. Я чуть было не спросил ее, почему она мне сразу не сказала, что не знает, что такое глагол, но понял, что она и сама не знала, что не знает. Ей было ясно лишь то, что ей велели начать работу, а какую — она не знает. Она не способна анализировать указания, выяснять, что имеет для нее смысл, а что — нет, где кончается ее знание и начинается незнание.

Дети такого типа привыкли, что учитель должен им все показать, чтобы они потом смогли имитировать его действия; они не умеют извлекать информацию из словесных указаний. Они не представляют, что в словесных указаниях содержится информация. Они не способны выделить цель и средство для ее достижения или сформулировать содержание работы и метод ее выполнения. Если им задают задачу, они знают или не знают, «как ее делать». Если они не знают «как», вся задача представляется им не имеющей смысла.

Очень опасно требовать от детей, чтобы они манипулировали символами, конкретного значения которых они не понимают. Через какое-то время они начинают чувствовать, как Марджори, что все символы лишены смысла. Уча детей, мы используем слишком много слов и слишком быстро их проговариваем.

26 января 1961

Ранее я описывал задачи, которые д-р Гаттенъо давал на своем открытом уроке умственно отсталым детям. Недавно я предложил эти задачи Дороти, которая, без сомнения, была самым отсталым ребенком из тех, кого я учил. До сих пор детям, которым я предлагал эти задачи, было достаточно одной-двух попыток, чтобы понять, что к чему. Ей понадобилось пять или шесть. Когда она научилась сразу выбирать правильную палочку, чтобы заполнить промежуток, без подборов и даже колебаний, я сказал: «Тебя уже трудно обхитрить!» — и перешел к другой игре.

Наверное, некоторые учителя не поймут, зачем эта игра. Во-первых, и это самое важное, ребенку дается задача, которую он может решить самостоятельно, без посторонней помощи и без обращения к формулам, правилам и методам, смутно припоминаемым и непонятым; во-вторых, ребенок узнаёт достоверный факт — то, как ведет себя предмет, доселе ему непонятный, то есть поведение неодушевленных предметов представляется ему последовательным и надежным, а не причудливым и непредсказуемым.

Иногда возникает ощущение, что органы чувств этих детей функционируют как-то не так. Как будто они не видят того, что видим мы. Я не раз предлагал Дороти выбрать палочку такой же длины, как шесть (или четыре, или еще сколько-нибудь) белых (1) палочек. Очень часто выбранная ею палочка была на два-три сантиметра длиннее или короче нужной, и ей обязательно нужно было приложить эту палочку к белым палочкам для проверки. Может быть, она боялась доверять свидетельству своих органов чувств?

При наличии времени, вероятно, можно было бы вернуться к истокам и перестроить интеллект этого ребенка. Возможно, уроки математики, так разрушительно подействовавшие на ее интеллект, помогли бы восстановить его, будучи организованными соответствующим образом. Но для этого нужно было бы устранить влияние внешнего мира на то время, пока она учится находить смысл в вещах, чтобы ей не начинало казаться, что она знает то, чего на самом деле не знает, и чтобы она не чувствовала себя глупой или пристыженной из-за того, что знает так мало.

*Впрочем, «перестроить интеллект ребенка» — дурная фраза, к тому же неправильная. Мы приносим более чем достаточно вреда в школе, если считаем, что только учим фактам. Но если настанет день, когда мы решим, что наша задача — строить или перестраивать интеллект, мы будем причинять гораздо больше вреда. Человеческие существа одарены интеллектом с рождения. Мы по природе своей — животные, задающие вопросы, находящие ответы, решающие задачи, и нам это **очень** здорово удается, особенно пока мы еще маленькие. Но при определенных условиях, которые могут существовать где угодно и, наверное, существовали во все времена почти во всех школах, мы прекращаем использовать наши могущественнейшие интеллектуальные силы, перестаем ощущать*

потребность в их использовании и даже не верим больше, что мы ими обладаем.

Чтобы исправить это положение, не нужно изобретать все более и более хитрые трюки для «постройки интеллекта», надо лишь покончить с этими условиями, заставляющими людей действовать по-дурацки, и взамен предоставить людям возможность оказываться в самых разнообразных ситуациях, в которых они, возможно, опять начнут действовать, руководствуясь своим интеллектом. Мозг и дух, как и тело, способны вылечить себя от многих ран, если мы не будем открывать эти раны, чтобы посмотреть, как там они заживают.

Эти уроки, действительно, оказались очень эффективными для Дороти. В течение первых шести лет пребывания в школе она, согласно результатам школьных проверок и тестов, одолевала лишь половину нормальной учебной нагрузки. На сей раз она выполнила программу целого года. Это вовсе не означает, что я выучил ее массу всякой всячины или перестроил ее интеллект. Факт тот, что я учил ее очень малому и посвящал этому очень мало времени; только в конце зимы я почувствовал, что она освоилась в классе и перестала бояться и что я могу начать работать с ней.

Ей очень помогло то, что наш класс стал (по сравнению с остальными) местом, где было весело, интересно и не страшно, потому что все были готовы помочь. Избавившись от страха не справиться с чем-то и выглядеть глупой, девочка выбралась из своей норки и стала наблюдать за происходящим вокруг. Она пробыла в классе не более двух месяцев, когда мне позвонила ее мать, поблагодарить меня за все, что я сделал. Я не понял за что, ведь я уделял ее дочери не так уж много внимания, и дела у девочки в школе шли по-прежнему из рук вон плохо. В лучших традициях моих учеников, я стал нащупывать ответ. Мать сказала мне, что шесть лет подряд Дороти приходила из школы молчаливой и потом весь вечер молчала. Теперь же она не успевает сесть к матери в машину, как начинает говорить, и продолжает в этом духе до вечера. О чем? О ее талантливом учителе мистере Холте? Отнюдь нет. Она рассказывает обо всем интересном, что они говорили и делали, все ребята в классе. В этом она и черпала пищу для своего ума.

Конечно, мне весьма приятно осознавать свою причастность к этим счастливым переменам. Но я не «перестраивал интеллект ребенка», и самым ценным временем школьного дня для нее были отнюдь не часы работы под моим руководством.

30 января 1961

Я предложил Энди разложить белые палочки в пять кучек, по 8 палочек в каждой. Для этой цели стоились бы любые маленькие предметы. Потом я дал ему восемь бумажных стаканов и велел разложить палочки поровну по этим стаканам. Любой, кто понимает принцип умножения, легко сообразит, что в

каждом стакане должно быть по 5 палочек. Не такие сообразительные будут рассуждать: « $5 \times 8 = 40$; у меня 40 палочек. Если разложу их в 8 стаканов, в каждом будет 5 палочек». Энди ничего такого не сделал. Для начала он попробовал положить в каждый стакан по 8 палочек. Их не хватило. Тогда он стал раскладывать по 4 палочки; 8 палочек остались лишними. Я было подумал, что сейчас он их разложит по 8 стаканам, но, к моему изумлению, мальчик высыпал все палочки и начал снова. На сей раз он попытался разложить по 6 палочек в каждый стакан; палочек не хватило. Тут палочки были разложены по 5, все сошлось.

Одна из прелестей этой работы заключалась в том, что Энди, прорываясь к решению, не осознавал, что делает ошибки. По-своему, неуклюже, он выполнял исследование и сам, без чьей-нибудь подсказки, видел неудачу, и каждая новая неудача приближала его к решению. Из рук вон плохая работа для пятиклассника, она не пробуждала в нем пораженческих настроений или стыда, но доставила живейшее удовлетворение, столь редко испытываемое им в школе.

У Теда были трудности с делением. Если нужно было делить 86 на 2, все было очень просто: $8:2 = 4$, $6:2 = 3$, в итоге 43. И если на 2 нужно было разделить 96, процедура повторялась: $9:2 = 4$ и 1 в остатке, $6:2 = 3$, в итоге 43. Что делать с 1 в остатке, оставалось неясным. Я предложил ему разделить 55 на 5. Ответ — 11. А 65 разделить на 5? Тоже 11. А 75 на 5? Тоже. И 85, и 95, деленные на 5, в результате давали те же 11. Он и сам беспокоился, что тут что-то не то, но в чем же дело? 9 разделить на 5, получится 1. $5:5 = 1$. Всего 11. Замкнутый круг.

Мы позанимались делением, раскладывая палочки по стаканам. Я выдал ему 5 оранжевых (10) палочек и две белые (1) палочки и предложил разложить их поровну в 4 стакана. Тут же оранжевые палочки нашли свое место, вместо 1 остающейся оранжевой он попросил выдать ему 10 белых, приложил к ним 2 белые, которые у него уже были, и благополучно разложил их по 4 стаканам. Всего 13.

Я задал ему еще несколько таких заданий. И каждый раз после распределения оранжевых палочек несколько из них оставалось в остатке, и он просил заменить их белыми. И каждый раз, перед тем как выдать ему требуемое количество белых палочек, я спрашивал, сколько из них попадет в каждый стакан. Его ответы были правильными, если нужно было делить на 2. Но если делитель был 3 и больше, Тед чувствовал себя неуверенно, отвечая на мой вопрос, и сам себе такого вопроса не задавал. Он неизменно просил выдать ему остаток белыми (1) палочками и потом старательно их делил.

Ну что же, так и должно было быть. Когда дети выполняют конкретные операции такого типа, действуя осмысленно и получая результаты самостоятельно, те результаты, в которых они должны быть полностью уверены, необходимо позволить им пользоваться любыми громоздкими приемами, пока они не освоятся с ними, чтобы потом подсказать более простой путь достижения тех же результатов. Часто говорят, что для ощущения

надежности дети должны повторять одно и то же, упражняться. В ситуациях такого рода, когда ребенок действует сам по себе, владеет материалом и уверен в том, что делает, это, наверное, правильно. Но доля таких упражнений в школе ничтожна. В школе господствует рутина, и считать, что после многократного повторения бессмысленные в глазах детей упражнения вдруг обретут смысл, так же нелепо, как надеяться на то, что попугай, достаточно долго повторяя человеческую речь, станет понимать ее. Теда, очень умного мальчика, муштровали бесконечно, уча его то таблице умножения, то оптимальным способам деления, но сейчас он понимает их хуже, чем в первый день, когда о них услышал. Он их не только не понимает, он их боится. Но если он проделает эти действия с палочками или другим материалом достаточно много раз, чтобы спрогнозировать результат, чтобы знать его до того, как последняя белая палочка положена на место, то тогда, и только тогда, мы сможем ввести символы, будучи уверенными, что он их поймет.

Сеймур Пейперт в книге «Штурм интеллекта» (Бейсик Букс, 1980), посвященной возможностям использования компьютеров — еще тогдашних компьютеров, весьма отличавшихся от современных, — для того чтобы помочь детям разобраться в своем математическом мышлении, указывает на разницу между «упражнениями» и «практикой». Практикуются для себя, при желании или необходимости достичь лучших результатов. Упражнения делают для других, чтобы те проверили вас, знаете ли вы то, что, по их мнению, должны знать; возможно, таким образом они просто стремятся загрузить вас работой.

*Практиковался ли со мной Тед или делал упражнения? Боюсь, в основном делал упражнения. Мне он нравился, он чувствовал это и, в свою очередь, относился ко мне с симпатией и доверием. Совершенно очевидно было, что в моем классе ему было интереснее, чем в каком бы то ни было другом, и успехи у него наметились. Но я никогда не видел, чтобы он **сам** попытался сделать что-нибудь такое, что мы делали вместе. Может быть, именно поэтому у него ничего не задерживалось в мозгу, и мы должны были делать одно и то же день за днем, неделя за неделей.*

*То, что я делал с ним, пытаясь облегчить ему понимание, было похоже на обучение по командам программы. Пока я был тут и задавал ему вопросы, он со временем, методом проб и ошибок, наталкивался на метод, как раздобыть ответы, которые меня бы устроили. Но, как и тот одиннадцатиклассник, о котором я рассказывал, Тед не помнил вопросов. Если я выдерживал темп, он мог следовать за мной по цепочке рассуждений, но **никогда не мог построить цепочку сам**. Мне хотелось научить его, для его собственной пользы, способу использования этих палочек для выполнения и проверки различных действий в мире чисел. Но он ни разу не воспользовался тем, что я вложил ему в руки. Всяк остался при своем.*

Инициатива научить его делению принадлежала мне. Он не хотел ничему подобному учиться, ему это было не нужно за стенами школы, так же как и мне. Ему хотелось сделать мне приятное. Возможно, он почувствовал

интуитивно, что если хоть однажды он доставит мне удовлетворение тем, что покажет, что умеет выполнять деление, то больше никто не станет ему докучать подобными вещами; где-то он оказался прав.

3 февраля 1961

Бедная Марджори изо всех сил старалась вспомнить все, что когда-либо говорилось в школе об этом, но все было тщетно. В голове вертелись обрывки правил и какие-то примеры и идеи, но она не имела ни малейшего представления о том, какие из них применимы к конкретной ситуации.

На следующий день она спросила, можно ли ей снова позаниматься со мной с палочками, и получила мое согласие. Сначала мы занялись составлением цветных прямоугольников: я сложил несколько палочек одного цвета вплотную друг к другу, получив таким образом прямоугольник, и предложил ей сложить точно такой же, но другого цвета. Она быстро поняла, что это можно сделать из белых палочек, а вскоре сложила прямоугольники и из палочек других цветов.

«Я сложил несколько палочек...» Мне все еще кажется, что это довольно хорошая игра или головоломка с палочками. На следующий год я сделал из картона несколько мелких коробочек одинаковой глубины — 1 см — и разной длины и ширины — 3×5 см, 4×7 см и т. д. Я давал их детям и предлагал наполнить коробочки по-разному — палочками одного цвета, палочками разных цветов, палочками двух цветов, но равным количеством каждого из них и т. д. Маленькие дети находят эти задачи интересными по многим причинам. Люди, занимающиеся изготовлением палочек, могли бы подумать и о комплекте пластмассовых коробочек для подобных задач. Впрочем, комплект небольших коробочек легко сделать из любой картонной коробки.

В ходе наших занятий она часто повторяла слова: «О, какой ровненький! Как мне нравится разгадывать такие секреты!» Словами невозможно передать ее эмоциональное состояние и волнение в ее голосе.

Спустя день или два я предложил ей составить прямоугольник из палочек одного цвета, но так, чтобы я не смог покрыть его другим цветом (за исключением белого). После ряда неудачных попыток она поняла, что может «победить» меня на квадратах со стороной 3, 5 и 7 см. Она уже заключила было, что 9 см тоже дадут успех, и была очень удивлена, когда я смог покрыть этот квадрат светло-зелеными (3) палочками. Она не увидела, что требовались простые числа. Но и позже, хотя мы работали с простыми числами уже не одну неделю, она не поняла, *что такое* простое число.

Снова и снова она повторяла, как нравится ей «разгадывать секреты». Этой фразой она (и не только она) выражала свое удовольствие тем, что ей удалось решить задачу и понять, как это получилось. Почти все ученики в классе воспринимали эту игру как что-то необычное и не имеющее отношения к школе.

Потом мы занялись игрой на деление с помощью бумажных стаканчиков. Как и другие дети, Марджори раскладывала по стаканчикам столько оранжевых (10) и белых (1) палочек, сколько могла разложить поровну, а потом меняла оставшуюся оранжевую на белые — и снова раскладывала поровну. Эта игра ей очень понравилась, и она даже включилась в соревнование с Энн, у которой больше способностей к математике.

Если этих детей спросить, какое действие они выполняли, они несомненно скажут — деление, но сами они об этом не задумывались и не применяли те немногие знания о делении, которыми владели. Если мы позволяем детям делать практические арифметические действия перед выполнением операций с цифрами, все равно не надо наталкивать их на слишком поспешные обобщения относительно сделанного. Вместо этого мы должны суметь создать такие ситуации, в которых бы дети сами захотели усовершенствовать метод выполнения практических действий, — вроде соревнования на деление между Марджори и Энн — причем так, чтобы в поисках лучшего метода они сами делали собственные обобщения. Предположим, ребенок не знает, что $42:3 = 14$, он не знает способа решения этой задачи.

Мы даем ему 4 оранжевые и 2 белые палочки и предлагаем разложить их поровну в три стаканчика. Он кладет по одной оранжевой палочке в каждый из стаканчиков, оставшуюся меняет на 10 белых, затем, разложив 12 белых палочек по трем стаканчикам, выясняет, что в каждом стаканчике оказалось по 14 палочек. Он проделает эту операцию много раз, прежде чем поймет, что, получив остаток из одной оранжевой и двух белых палочек, дальнейшие операции можно сделать в уме, не прибегая к обмену оранжевой палочки на белые.

На следующий день я решил ускорить процесс. Когда девочка попросила меня поменять оранжевую палочку на белые, я спросил, не может ли она так сказать, без обмена палочек, сколько белых окажется в каждом стаканчике. Если бы она понимала деление, то смогла бы сказать, но такого не случилось. Оставшись наедине со своей задачей, она возвращалась к прежней системе, в которой понимала, что делает и что получается.

Значение этого факта трудно переоценить. Идея выполнения деления в уме, а не с помощью палочек не прижилась в ее сознании, поскольку это была моя идея, а не ее, в этой идее у девочки не было интеллектуальной потребности. Мы не должны обманывать себя, как я это делал многие годы, подводя детей к ответам тщательно подобранными наводящими вопросами. Дети, которых подвели к ответу на вопрос учителя, потом оказываются беспомощны, если только не вспомнят тот самый вопрос и не смогут задать себе аналогичный, а как раз этого-то они и не могут. Единственный ответ, который застревает в голове ребенка, — ответ на вопрос, который он задавал или мог задать самому себе.

Вчера мы играли в другую игру. Я дал Марджори 2 белые палочки и спросил, сколько разных прямоугольников она сможет из них сложить. Она убедилась, что только один. Я добавил одну палочку и задал тот же вопрос.

Снова получился лишь один прямоугольник. Из четырех палочек можно было составить два прямоугольника: 1×4 и 2×2 . Так мы дошли до 20, находя множители каждого из чисел либо отмечая, что данное число простое. Ни разу на всем пути до 20 ни Марджори, ни более способная Энн не решили задачу, воспользовавшись тем немногим, что они знали о множителях. Получив 10 палочек, они не подумали: «Мы сможем сложить прямоугольник в 5 палочек длиной и в 2 шириной». Они шли к цели всякий раз методом проб и ошибок, однако двигались к цели значительно быстрее, если видели, какая комбинация возможна, а какая нет.

Лишь позже я понял, что постоянно увеличивающаяся скорость решения задачи — это начало, семя, из которого произрастет способность к обобщениям и абстрактному мышлению. Это напомнило мне пример, повторявшийся неоднократно. Когда у ребенка было 12 палочек, он составлял прямоугольник 6×2 , затем делил его пополам и складывал прямоугольник 3×4 . В процессе работы подход к задаче становился все более экономичным и рациональным. Путь от понимания к выражению своей мысли словами непрост, но они прошли этот путь. Важно лишь не торопить этот процесс.

Работа изменила большинство моих идей об использовании палочек Куизенера и других материалов. Поначалу мне казалось, что мы можем использовать их для более быстрого обучения, и многие учителя пользовались ими именно с такой целью, но это оказалось большой ошибкой. Что мы действительно должны были делать, так это воспользоваться упомянутыми материалами так, чтобы облегчить детям обобщение собственного опыта и открытий, понимание того, как «работают» числа и арифметические операции. Наша цель — строить прочно, и если это означает, что строить надо медленнее, значит, надо строить медленнее. Некоторые темы мы начнем гораздо раньше, чем обычно, — дроби, например, а некоторые, такие, как деление больших чисел, можно и отложить. Оптимальные сроки подскажут сами дети, их интеллектуальный прогресс.

*Уже четыре или пять лет мне приходится твердить учителям, что, если мы хотим «научить» детей тому, что в школе называется «основными арифметическими фактами», то есть, например, тому, что $3+4=7$ и $5 \times 4=20$, наилучший способ сделать это — дать возможность детям **открыть эти факты самим**, на основе эксперимента, подобно тому, как эти две девочки открыли для себя основные свойства чисел. Утверждение, что $3+2=5$ будет усвоено лучше не как факт, который кто-то «изобрел» и который можно только лишь запомнить, а как свойство числа 5. Это свойство, по которому группа из 5 предметов может быть разделена на группы из трех и двух предметов, не человеческое изобретение, а факт реальной природы. Утверждение, что $3+2=5$ — только один из путей записать и рассказать о явлении природы.*

Один из нескольких? Другие способы: $2+3=5$, $5-2=3$ и $5-3=2$. Все четыре эти утверждения, которым в школе учат обычно порознь, как не связанным друг с другом фактам (а значит, и запоминаются они порознь), на

самом деле могут и должны быть объяснены как **один** факт — тот непреложный факт, что из пяти предметов можно сформировать группы из трех и из двух предметов.

Однако этот факт дети могут открыть для себя сами. Они не должны принимать его на веру и слепо запоминать. Они могут использовать реальный мир и свои чувства, чтобы установить этот факт, проверить его и открывать вновь столько раз, сколько необходимо. Позволю себе еще раз подчеркнуть «если» в словах: «Если мы хотим научить детей этим фактам». Ни в коем случае **нельзя** считать, что если мы не научим ребенка этим фактам, то он никогда их и не узнает, как нельзя считать, что, показав ребенку однажды способ нахождения основного свойства числа 5, подтолкнем его к тому, что все остальное время он будет стараться найти свойства других чисел. Для большинства детей это не очень интересная задача.

С точки зрения арифметики гораздо важнее понять тот факт, что утверждения типа $4+3 = 7$ и $9 \times 5 = 45$ относятся к реальному миру и что с помощью реальных окружающего нас мира эти утверждения можно проверить. Показав это детям один раз, нет нужды тратить много времени на повторные проверки.

11 марта 1961

Мы с Дороти занимались второй день. Я старался добраться до истока ее непонимания чисел, чтобы найти твердую почву, на которой можно было бы начать строительство знаний, но так и не мог нащупать ее.

Я разложил на столе два ряда белых палочек, по пять в каждом. Разложив их, я сказал: «Вот два ряда палочек, в каждом по одинаковому числу». Она согласилась. Я спросил, сколько палочек мне понадобилось, чтобы составить эти два ряда. Она сказала — десять. Я написал 10 на листке бумаги и поставил рядом птичку. Затем я составил два ряда по семь палочек. Она согласилась, что палочек в них поровну, и ответила, когда я спросил, что на оба ряда пошло 14 палочек. Разумеется, ей пришлось пересчитать их. Я написал на другом листке 14 и поставил рядом птичку.

Затем я сказал: «А теперь сделай ты». Она смешала мои ряды с остальными палочками, затем вытащила из кучи несколько и выложила из них два ряда по шесть палочек. Я спросил, сколько палочек ей понадобилось, и она сосчитала — 12. Я написал это число на листке бумаги и поставил рядом птичку. Затем я спросил: если у нее 11 палочек, сможет ли она выложить два одинаковых ряда, чтобы ни одной не осталось? Она смешала свои 12 палочек с общей кучей, отсчитала из нее 11 палочек и попыталась выложить из них два одинаковых ряда. Через некоторое время она сказала: «У меня не получается». Я согласился, что и не могло получиться, нарисовал цифру 11 и поставил рядом большой крест.

После этого я сказал: «С некоторыми числами получилось, как с 10 и 14, а с другими, как 11, не получается. Начни с шести и скажи мне, с какими числами это выходит и с какими нет». После того, что мы уже сделали, такое задание было понятно. Она отсчитала 6 палочек и расположила их в 2 ряда. Я написал 6 и поставил птичку. Но тут меня ждал сюрприз. Вместо того чтобы добавить еще одну палочку и получить 7, она сдвинула все шесть в общую кучу и отсчитала заново 7 палочек, постаравшись выложить из них два ряда. Через некоторое время она сообщила: «Не получается». Я написал 7 и поставил рядом крест. И опять она сдвинула все палочки в общую кучу и отсчитала 8, составила из них два ряда по 4 палочки и сказала: «Из 8 получилось». Точно так же отсчитав заново 9 палочек и не сумев составить из них 2 ряда, она сообщила мне об этом. Эта процедура продолжалась, пока мы не добрались до 14.

Затем она сделала крупный шаг. Разложив в два ряда 14 палочек, она достала еще одну и получила 15. Просто добавив новую палочку в один из рядов, она тут же сообщила, что из 15 «не получается». И снова, оставив ряды, она добавила новую палочку к короткому ряду и сказала, что из 16 «получается». Этим куда более эффективным процессом мы вскоре перевалили через 20, а после 24, не добавляя новой палочки, сказала: «Из 25 не получится». Она продолжала все с большей скоростью и уверенностью, пока мы не достигли 36. Здесь она перестала называть нечетные числа и сказала: «Из 36 получится, из 38 получится, из 40 получится...» — и продолжала так до 50, на чем мы и остановились.

Мы отдохнули немного, построив из палочек домики, а затем перешли к следующей задаче. На этот раз я выложил три ряда одинаковой длины и спросил, какие числа начиная с 6 подойдут в данном случае. К моему удивлению, девочка не смогла выложить из 6 палочек 3 равных ряда, а пыталась расположить их в последовательности 3 — 2 — 1. Я помог ей, и она начала работать, сделав шаг от задачи из двух рядов. Когда я сложил из 6 палочек 3 ряда по 2 палочки и записал цифру 6, она добавила палочку к одному из рядов и сказала, что из 7 «не получается», добавила палочку к другому ряду и сказала, что из 8 тоже «не получается», затем добавила палочку к третьему ряду и сообщила, что из 9 «получилось». Таким образом мы дошли до 15 или 18. И тут она перестала добавлять палочки и сказала: «Из 19 не получится, из 20 не получится, а из 21 получится». Когда мы дошли до 27, она стала просто перечислять числа, с которыми «получится», — 30, 33, 36, 39.

Задачу для 4 рядов мы начали с числа 8. Посмотрев на палочки, она сказала, что из 9, 10 и 11 «не получится», а из 12 «получится».

Далее без помощи палочек она сказала, что из 13, 14 и 15 «не получится», а из 16 «получится». Так она отметила числа 20, 24, 28, 32 и т. д. В задаче для 5 рядов, которую мы начали с 10, с помощью палочек добрались до 15, и после этого она начала прибавлять по 5.

Люди, которым я описал эту работу ребенка, были крайне удивлены. Они не могли представить, что даже безнадежно неуспевающая ученица со скудными способностями к математике потратит столько сил и неэффективных

действий, чтобы решить такую простую задачу. Однако факт остается фактом. Нам, учителям, бесполезно повторять, что дети *должны* знать больше, *должны* понимать лучше, *должны* уметь работать более эффективно. Причина, по которой этот бедный ребенок едва ли что-то узнал за шесть лет обучения в школе, заключается в том, что никто не подумал начать обучение с того уровня, на котором девочка фактически находилась. И она смогла сделать большой прогресс за одно занятие именно потому, что мы начали с уровня ее понимания, от которого она начала двигаться эффективно вперед без посторонней помощи.

Хотя на этот день у меня была намечена интенсивная работа с пятиклассниками, я был очень рад позаниматься с Дороти. Я не думаю, что она усвоила больше Теда из того, что я ей показал. Но, по крайней мере, теперь у нее был опыт решения задач, которые она поняла, а это значит, что она смогла почувствовать силу собственного разума. Задача, моя задача, вероятно, казалась ей бессмысленной и нелепой, но решение она все-таки нашла сама.

Я думаю, что было бы глупо и вредно предлагать всем маленьким детям решать подобного рода задачи по всей процедуре, описанной выше. Однако это может оказаться очень полезным как детям, так и взрослым — вынести для себя урок, то есть понять, что даже задачи, кажущиеся нам ужасной головоломкой, можно решить на основе простых математических законов.

Я подозреваю, что взрослые, у которых трудности с основами арифметики и страх перед ней, с помощью описанных упражнений могут почувствовать себя куда более уверенно и даже обрести вкус к этой науке. Как и Дороти, они могут почувствовать удовлетворение от того, что «секрет разгадан».

Нет необходимости пользоваться более дорогими материалами, чем палочки Куизенера, для подобных задач. Подойдут любые мелкие предметы — спички (горелые), зубочистки, кусочки картона и т. п.

20 марта 1961

Ряд детей работает над задачей, которая может быть сформулирована так: «Найти число квадратов, которые можно разместить на прямоугольнике шириной более одного квадрата». Ясно, что ответом может быть любое число, за исключением простых чисел. Я свел эту задачу к более простой, предложив построить из квадратов прямоугольник с дыркой посередине, равной по величине одному квадрату. Способные ученики, как Терри, подошли к задаче систематично. Они начали строить минимальный по размерам прямоугольник вокруг центральной дырки, то есть образуя вокруг нее пояс толщиной в один квадрат. На это понадобилось 8 квадратов. Затем они начали строить большие по размерам прямоугольники, но так, чтобы дырка оставалась в центре. Вскоре Терри заметил, что такой прямоугольник должен иметь стороны с нечетным

числом квадратов — 3×5 , 7×3 и т. д. Вскоре он мог сказать уже без построений, какие числа подойдут и какие нет.

Тугодумы, подобно Энди, подходят к задаче совершенно иначе. Такой ученик обычно берет 16 палочек, составляет из них квадрат 4×4 и потом долго думает, как удалить одну, чтобы дырка была в середине, но как он ни старается, ничего не получается. Бесплодные попытки образовать дырку в середине утомляют его, но, как ни удивительно, не пугают. Он работает смело и целеустремленно. В конце концов он начинает понимать, что для решения нужен прямоугольник с нечетными сторонами, но даже теперь не видит, что подойдет любой такой прямоугольник. По сравнению с Терри его метод решения неуклюж и неэффективен, но самое важное — что это его метод, в точности соответствующий его складу ума, и что он этим багажом смог воспользоваться.

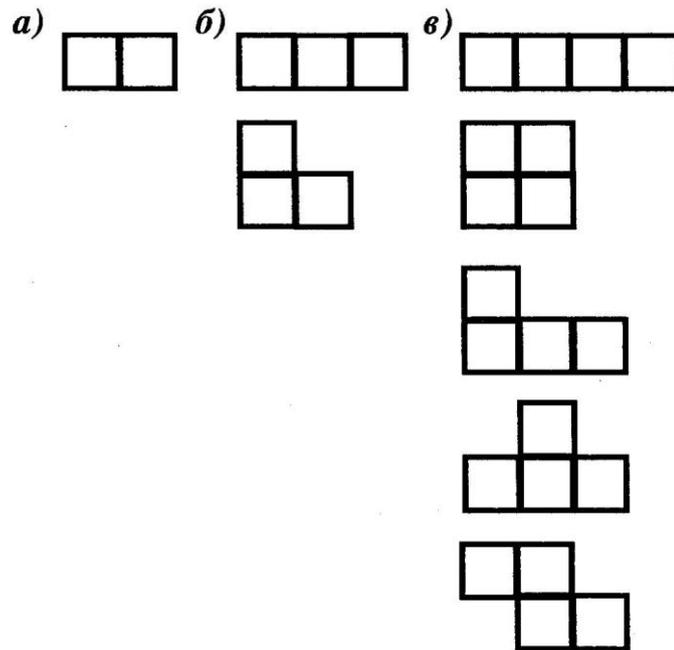
Мы должны уметь придумывать или брать из жизни задачи, которые дети смогут решить самостоятельно и сделать при этом для себя важные выводы. Такие задачи должны вырабатывать в них своего рода самонастраивающийся и самообучающийся математический механизм, причем так, чтобы ребенок мог закладывать в него программу все более сложную по мере своего роста. Однако такой подход к обучению математике, как и другим предметам, требует от учителя, чтобы он перестал думать о *способе* или *наилучшем способе* решения задач. Мы должны понять, что дети, решающие задачу пусть примитивным методом проб и ошибок, малоэффективным, но делают для себя открытия полезные и волнующие, и к этим открытиям нужно проявлять такой же интерес и так же поощрять их, как и более сложные открытия успевающих учеников. Когда Дороти после долгих и тяжелых трудов открыла для себя, что каждое второе порядковое число делится на два, а каждое третье делится на три, она сделала для себя такой же большой интеллектуальный шаг вперед, как школьники, открывшие для себя некоторые законы экспонент.

Иными словами, изобретение колеса для своего времени было не менее крупным шагом вперед, чем изобретение самолета, а по сути и куда крупнее. Мы, учителя, должны безошибочно распознавать те моменты, когда ученики, фигурально выражаясь, «изобретают колесо» и когда они «изобретают самолет», причем изобретатель колеса требует не меньшего внимания и похвал, чем изобретатель самолета. А самое главное, мы должны устоять перед большим искушением показать отстающему ученику колесо, чтобы он поскорее мог перейти к работе над самолетом. В математике точно, а может быть и в других предметах, всякое знание, которое не было добыто самим ребенком, скорее всего покажется ему бесполезным и вскоре будет забыто.

Эти головоломки или задачи на составление прямоугольников или квадратов с дырками посередине показались детям достаточно интересными, по крайней мере в школьных условиях. Я сильно сомневаюсь, что дети будут тратить свое свободное время на составление и решение подобных задач. Как и другого рода задачи, описанные выше, они могут быть

интересны и полезны особенно тем детям и взрослым, у которых ярко выражена математическая боязнь.

Многие важные математические законы были открыты на основе таких простых игр, как полимино — составление различных фигур из одинаковых квадратиков (см. рис.). Разумеется, для занятий с полимино и с теми головоломками, которые я давал ученикам в классе, палочки Куизенера не требуются: квадратики можно вырезать из плотной бумаги или картона.



а) полимино из 2 квадратиков

б) полимино из 3 квадратиков

в) полимино из 4 квадратиков

4 мая 1961

Умелая рекламная кампания была проведена в отношении так называемой новой математики. О ней говорили все, и школа или учитель, не взявшие ее на вооружение, казались безнадежно отсталыми. В определенной части эта новая математика действительно хороша. То тут, то там происходят истинно революционные изменения в преподавании математики. Дети находят что-то новое для себя, а не отвечают на вопросы, опираясь на намеки и наводящие вопросы. Но таких мест в новой математике немного. Большая ее часть — то же плохое, что было и в старой математике, и в целом она напоминает книгу кулинарных рецептов. И хорошо еще, если эта книга содержит нужные вам рецепты и написана простым и ясным языком.

Многие из них содержат массу двусмысленностей и плохо подобранных примеров. Материал предполагает наличие у детей знаний, которыми они в действительности не располагают. Они не наводят прочный мост между известным и реальным, с одной стороны, и неизвестным, абстрактным — с

другой. Зачастую они слишком объемны, а материал при этом изложен бессвязно или слишком прямолинейно, по принципу «вопрос—ответ». Короче, книги эти не оправдывают той рекламной шумихи, которая вокруг них была поднята. А некоторые дети, которые ими пользовались, так и остались сбитыми с толку, напуганными, как и раньше.

Сеймур Пейперт, профессор математики и образования в МП, сказал о новой математике следующее:

«Реформа курса новой математики шестидесятых годов — это попытка изменить содержание школьной математики. Но далеко идущими эти изменения не стали. Дело не пошло дальше суммирования, хотя и разными способами. Тот факт, что суммирование выполняется рядами, а не числами, а арифметика основана на двоичной системе вместо десятичной, принципиального значения не имеет. Такая математика не развивает изобретательность творчески одаренных детей. Само название — «Новая математика» — неправомерное употребление терминов; слишком мало в ней содержится нового. Она появилась не в процессе изобретений детей-математиков, а как результат тривиализации математики взрослых математиков».

Но даже если бы новая математика и была хороша — а некоторые ее части составлены действительно неплохо! — она никогда не совершит коренного изменения в преподавании математики, поскольку учителям сказали, что они должны ввести новую математику в своих классах, нравится им это или нет. Единственный способ внушить учителям новые методы преподавания — это сказать им: «Вот идея, которая, по нашему мнению, понравится вам, и если она понравится, и только если понравится, вы можете подумать о том, чтобы опробовать ее в работе с детьми». Исключительно с таких позиций мы с Биллом Халлом познакомились с палочками Куизенера. Никто в школе не приказывал нам пользоваться ими. Только по собственной инициативе мы заказали их для своих классов, попытались хорошенько продумать, как лучше ими воспользоваться.

*Единственный вид педагогических исследований, способный поднять уровень преподавания, — это исследования, проводимые самими учителями в своих собственных классах и направленные на то, чтобы решить именно их проблемы. На деле же многие учителя, пользующиеся в преподавании результатами своих исследований, попадают в сложные ситуации, **даже если новые методы показали лучшие результаты**. Заставить учителей проводить такие исследования невозможно, да большинство из них и не захочет этим заниматься, предпочитая прислушиваться к мнению других и не брать на себя лишнюю ответственность. Однако те учителя, которые стремятся находить и использовать новые методы преподавания, заслуживают всяческого поощрения. Ни одна из трех школ, в которых мне довелось работать, не проявила никакой поддержки моим усилиям найти новые пути преподавания, даже если положительные результаты, и порой просто удивительные результаты, были налицо.*

Дети не могут узнать многое из «кулинарной книги», даже из самой хорошей. Ребенок учится каждую секунду, но не тем способом, который кажется наилучшим нам, а тем, который наиболее удобен ему, то есть в наибольшей степени соответствует складу его ума, его менталитету. Учителям это трудно понять, а еще труднее — тем, кто придерживается «уставных» принципов в преподавании и за это на хорошем счету у администрации. Чем больше мы знаем о структуре нашего собственного мышления, тем больше искушение перенести эту структуру полностью в умы детей. Но это невозможно сделать. Эту структуру они должны построить сами. Я могу видеть, что факт А и факт В взаимосвязаны друг с другом посредством связи С, но я не могу внедрить эту связь в сознание ребенка, просто рассказав о ней. Он может запомнить факты и то, что я говорил об их взаимосвязи, но вполне вероятно, что мои слова отложатся у него в голове как три факта, А, В и С, никак не связанных друг с другом.

Возьмем, к примеру, два факта: $2 \times 9 = 18$ и $2 \times 10 = 20$. Большинство детей и многие учителя рассматривают эти факты в отрыве друг от друга, учебники предпочитают переходить сразу к умножению на 10 и 100. Однако эти два факта связаны друг с другом, и связь эта выражается в том, что десять пар больше, чем девять пар. Зная это, я могу смело утверждать, что 1000×2 должно быть больше, чем 999×2 , ровно на 2, а раз так, то, не выполняя умножения, я могу сказать, что 999×2 равняется $2000 - 2$, то есть 1998. Однако я неоднократно убеждался, что многие ученики относятся к этой связи как к третьестепенному факту, который лишь усложняет понимание и никак не соотносится с остальными. Ребенок может сам установить, например, что если $2 \times 75 = 150$, то 2×74 должно равняться $150 - 2$, то есть 148. Пока он сам к этому не придет, никакие рассуждения не толкнут его на новый шаг — увидеть, что поскольку $3 \times 50 = 150$, 3×49 должно равняться $150 - 3$, то есть 147.

Я уже давно пришел к выводу, что, хотя у детей неплохо развито индуктивное мышление, даже лучшие ученики редко могут привести примеры любых обобщений, какие им доводится знать. А причина, по которой они пользуются лишь немногими обобщениями, о которых узнают в школе, заключается в том, что не они сами сделали эти обобщения и в их сознании они не связаны с реальностью. Конкретная математическая задача, которую я предложил детям, давала им шанс сделать собственное обобщение — базу, на которой можно было строить знания дальше. Однако такого рода задачи было трудно применить к практике, к обычному курсу обучения арифметике — операциям с числами. Затем я увидел работу профессора З. Динеса, английского математика и преподавателя, тогда работавшего в Гарварде, и мне открылись новые возможности.

Профессор Динес разработал способ преподавания математики, который он назвал «математическая лаборатория». Этот метод уже широко применялся в целом ряде школ Англии.

Детям дают различного рода материалы и предоставляют широкое поле для экспериментов с ними: определить, сколько одних предметов требуется,

чтобы составить другой, как составную фигуру одной формы преобразовать в другую и т. д. Никто не подсказывает детям, как и что делать, они ищут пути решения задач сами. Если эксперимент оказывается слишком сложным, его упрощают. А найдя ответ, дети записывают его. Со временем они начинают видеть, что то, что они делали однажды, довольно похоже на то, что они делали в другой раз. На основе этого сходства они начинают делать обобщения, пока наконец не обретают способность решать задачи в уме, без помощи материала. Это означает, что дети усвоили принцип, воплощенный в задаче.

Как материалы, так и эксперименты с ними могут быть самыми различными. Дети находят их столь занимательными и интересными, что в некоторых школах целые классы по сорок человек занимаются ими, причем даже в отсутствие учителя. Некоторые из этих материалов помогают познать то, что знают немногие из них, — значение и использование основы нашей системы счисления — десятичной. В математической лаборатории много других материалов, в том числе и кажущихся взрослым слишком сложными, однако дети занимаются ими с удовольствием и вполне справляются с заданиями.

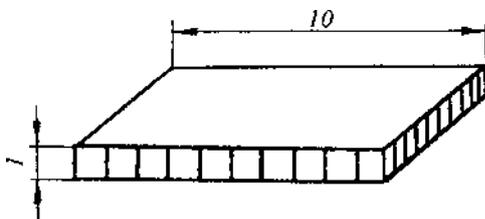
Нет причин, почему бы с помощью этих материалов, палочек Куизенера и других пособий, которые могут придумать изобретательные учителя, не учить арифметике в полном объеме и многим смежным вопросам лабораторным методом. Понадобится некоторое время на то, чтобы выяснить, какого рода материалы наиболее интересны детям, и привнести в них математический смысл, какие эксперименты дети будут выполнять с наибольшим удовольствием и с минимальным вмешательством учителя. Однако все это может быть сделано школой или учителями, которые понимают общий метод и принципы, на которых он основан, заинтересованы в том, чтобы у детей появились реальные знания, а не только хорошие оценки на экзаменах. В таких школах математика может со временем стать одним из самых популярных и конструктивных курсов, а не ненавистным, источником реальных и полезных знаний, а не абстрактных и оторванных от жизни, развивающим сообразительность, а не убивающим ее.

Меня очень захватила идея математической лаборатории, некоторых собственных материалов Динеса и перспектива разложить их перед детьми и предложить занимательные задачи, чтобы дети не только научились чему-то, но и полюбили математику. Иными словами, я надеялся сделать с этими материалами то, что Сеймур Пейперт надеялся сделать когда-нибудь с определенного рода компьютерами.

Одна из главных задач нашей начальной школы — научить детей основе системы счисления и месту в ней цифр. Учителя считают, что, если дети поймут это, они перестанут делать множество смешных ошибок в арифметических действиях, увидят в них логику и, таким образом, усвоят все действия школьной программы.

Динес придумал и предложил использовать материал, названный им многобазовыми кубиками. Наборы кубиков могут иметь базу 2, 3, 4, 5 и 10,

соответственно системам счисления от двоичной и троичной до десятичной. Набор для базы 10 содержит ряд одиночных кубиков из дерева с ребром в 1 единицу (порядка 1 см); ряд деревянных планок шириной в 1 единицу и длиной в десять раз больше, представляющих собой число 10; ряд деревянных пластин толщиной в 1 единицу и длиной и шириной в 10 раз больше, представляющих собой число 100; несколько деревянных кубов с ребром в 10 единиц, представляющих собой число 1000.



Набор для базы 2 состоит из одиночных кубиков того же размера, планок длиной в 2 единицы и пластин толщиной в 1 единицу и длиной и шириной по 2 единицы. Аналогичным образом строятся наборы для баз 3, 4 и 5.



Замысел заключается в том, что дети начнут делать «эксперименты», которые по сути являются арифметическими задачами, и начнут пользоваться данным материалом для размышлений и для проверки ответов. Короче, эти пособия должны помочь им. Воодушевившись такими возможностями, я заказал многобазовые кубики (за свой счет) и экспериментальные карты, входящие в набор. Получив заказ, я принес все это в класс и предложил детям самим решать, какие эксперименты делать.

В целом, по крайней мере поначалу, дети очень заинтересовались этими приспособлениями, а я ждал, когда начнется их независимое математическое образование. Однако меня ждал суровый удар. Когда я взглянул на первые «результаты эксперимента», то увидел, что, за несколькими исключениями, ответы были не только неверными, но и абсурдными. Дорогие и, как мне казалось, самообучающие материалы в действительности не научили их ничему. Я оказался на том же низком уровне, как с Эдвардом, Дороти и другими.

Нельзя также сказать, чтобы дети надолго заинтересовались выполнением экспериментов. Они были не больше заинтересованы, чем головоломками и задачами, которые я придумывал для них, то есть почти нисколько.

Я подождал немного, рассчитывая, что дети научатся извлекать пользу из многобазовых кубиков. Но никакого улучшения не произошло. Дети, которые и так понимали принципы системы счета, хотя бы интуитивно, понимали связь между написанными цифрами и действиями с ними и с кубиками. Дети, которые могли перевести 101 в двоичной системе счета или 322 в четверичной в эквивалентное число в десятичной системе без

использования кубиков, могли бы использовать кубики для проверки своих ответов. Но дети, не способные на решение таких задач без кубиков, не могли осилить их и с кубиками тоже.

Таким образом, дети, уже знающие, что куб в базе 2 состоит из 8 единиц, а в базе 4 из 64 единиц, могли проверить сами, что это именно так. Однако дети, для которых эти истины неочевидны, могли спокойно сказать, что куб в базе 4 состоит из 211 или 83 единиц, или любого другого числа, которое придет им в голову. Они воспринимают кубики абстрактно, без связи с реальностью, как нечто таинственное, произвольное и капризное.

И я решил отложить многобазовые кубики. Это оказалось очень просто. Как только я перестал понуждать детей пользоваться кубиками, через некоторое время они и сами перестали ими пользоваться. Я оставил их в комнате, где каждый желающий мог взять их, но никто не брал. К счастью, в отличие от большинства учителей я мог свободно **перестать пользоваться тем, что не работало**. Никто не заглядывал мне через плечо и не говорил, чем мне пользоваться и чем нет.

Я решил разработать свой собственный математический материал. Этому способствовала и позиция инспекторов народного образования, задачей которых было просто извещать учителей о новых методах и материалах, а также оказывать помощь тем из учителей, которые пожелают этими возможностями воспользоваться.

Я подумал, что если бы я был инспектором в школе, то смог бы влиять на преподавание математики во всей школе, а не только в своем классе. Я предложил свою кандидатуру и получил согласие, хотя жалование мне назначили вдвое меньшее — около 2000 долларов.

Теперь я понимаю, что школа была в меньшей степени заинтересована в этих исследованиях, чем я сам, и администрация только облегченно вздохнула, освободив меня от преподавания. Год спустя мне сказали, что я могу продолжить исследования в школе, но за свой счет, поскольку у школы на это денег нет. Так я работал бесплатно еще год, пока не попросился обратно в пятый класс. Однако мне отказали.

Но даже если бы школа и согласилась платить за мои исследования, в должности инспектора я мало что мог сделать. Я понимал, что только благодаря моим материалам и идеям класс стал желанным местом для моих учеников, где они узнали больше, чем за все предыдущие годы, но это в большой степени личностный фактор. Не как изобретателя учебных пособий любили меня дети, а как человека со множеством интересов, любителя книг, спорта и музыки, очень терпеливого по отношению к ним, одним словом — как человека, который говорит то, что думает и чувствует, а главное — любит детей, доверяет им и относится к ним с уважением.

Теперь я уже не обольщаюсь на счет придуманных мною пособий. Если бы я преподавал в школе или на дому, я был бы рад иметь под рукой палочки Куизенера, но за свои деньги покупать их я стану далеко не в первую очередь.

Что же нужно, чтобы сделать мир чисел привлекательным для детей, более доступным и интересным?

Необходимо помнить о следующих принципах:

Чтобы научиться, дети не нуждаются в том, чтобы их учили. Они узнают достаточно, а может быть даже больше, если начнут думать сами.

Детей очень интересует мир взрослых и то, что мы делаем в нем.

Дети узнают больше, когда изучаемые вопросы вплетены в контекст реальной жизни, связаны с практикой.

Дети учатся лучше, когда перед ними поставлена конкретная, достижимая и серьезная цель.

В области математики это означает следующее: чем лучше дети будут видеть, как мы пользуемся числами, тем больше они будут пользоваться ими, как мы.

Что мы, взрослые, делаем с числами? С их помощью мы измеряем величины, коих в реальном мире огромное множество. Почему? Чтобы знать их количественную меру и лучше использовать. Мы измеряем, чтобы определить, лучше мы делаем что-то или хуже, какой из возможных путей достижения цели короче, где мы находимся и куда направляемся и т. д. Мы ничего не измеряем ради праздного любопытства.

Поскольку все это чрезвычайно интересно и важно для нас, значит, заинтересует и детей.

Мы должны познакомить детей с числами, дав им как можно больше измерительных инструментов — линеек, рулеток, весов, хронометров и секундомеров, термометров, метрономов, барометров, люксметров, шумомеров и т. д. Что бы мы ни измеряли, мы должны делать это так, чтобы дети видели, как мы это делаем, и могли повторить наши действия. Они должны знать, что мы думаем о тех параметрах, которые измерили.

Детей интересует собственное тело — рост, подвижность, сила. Я предложил целый ряд экспериментов, в ходе которых могли бы измерить размеры своего тела, силу и скорость, а также зафиксировать изменения этих величин в разных условиях. Так, дети могут измерять частоту своего дыхания, пульс, затем повторить измерения после физических упражнений, затем через регулярные интервалы времени проследить, как эти параметры восстанавливаются до нормальных. Дети могут выполнять различные испытания на скорость и силу путем забегов на отмеренную дистанцию, или подъема тяжестей, или иных упражнений, а затем следить, что получается, если эти упражнения повторить после некоторого отдыха, и как их скорость, сила и время восстановления изменяются изо дня в день, из месяца в месяц.

Помимо того что тут не обойтись без чисел, это еще и **чистая** наука, а не пассивное изучение отвлеченных предметов в школе, за партой, когда детям рассказывают о замечательных открытиях, сделанных учеными, или о ложных методах других школ, где детям предлагают с помощью

«экспериментов» установить то, что уже давно известно, или где дети просто отвечают на вопросы учителя и получают за свои ответы соответствующую оценку.

Детей интересуют деньги отчасти из-за того, что они сами могут сделать с ними что-то, отчасти из-за того, как ими могут распорядиться взрослые, а кроме того, потому что взрослые ценят деньги.

Все дети старше десяти лет, а некоторые и младше, прекрасно знают, что взрослые думают и говорят о деньгах, и становятся сами весьма озабоченными этим аспектом жизни.

Если бы я снова очутился в своем пятом классе, я не только рассказал бы им как можно больше о роли денег в мире, но и поведал бы все о денежной стороне моей собственной жизни — как я получаю деньги, как их трачу, как коплю и т. д. Я бы показал им финансовые отчеты компаний, акции которых я имею, месячный отчет моего банка, чековую книжку, векселя, налоговые счета и прочее.

Детям нужен не стандартный курс арифметики, а куда более интересная пища для ума в сфере социальной, политической и экономической деятельности.

Если бы я учил детей на дому, я бы уделил особое внимание семейному бюджету. Дети должны знать, как вести учет прихода и расхода, выписывать чеки, оплачивать счета и т. д. Многие дети могут не проявить к этому интереса, но большинство, я уверен, проявят активный интерес и многое уже сами знают. Все эти навыки нужны и несомненно пригодятся детям в последующем, когда они начнут самостоятельную жизнь.

Было бы неплохо, если бы вся финансовая документация в семьях велась точно так же, как в небольшой корпорации или концерне. Многие дети заинтересуются этим процессом и, возможно, захотят принять в нем участие.

Если бы я вновь преподавал в школе, то обязательно поговорил бы о финансовых делах самой школы: откуда берутся деньги и как они тратятся, как ведется финансовая документация, как принимаются решения. Детям можно предложить участие в принятии решений.

В любом случае, я подчеркиваю это снова и снова, наилучший способ ввести детей в мир чисел — дать им возможность увидеть, какую роль числа играют во взрослой жизни.

Глава 4

НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

27 февраля 1958

Несколько дней назад Нелл подошла к моему столу и долго стояла, затем молча, как обычно, подала исписанный лист бумаги. По нашим правилам на странице должно быть не более трех ошибок, иначе эта страница должна быть переписана. Я проверил текст и обнаружил пять ошибок. Показав их девочке, я сказал как можно мягче, что работу придется переписать, добавив при этом, что надо быть внимательнее, — типичный учительский совет. Она взглянула на меня, тяжело вздохнула и вернулась за свою парту. Она левша и пишет прямо-таки неважно. Я видел, как она сосредоточенно хмурилась, переписывая текст. Через некоторое время она снова подошла ко мне, но на этот раз я обнаружил на странице семь ошибок, да и почерк стал заметно хуже. Я сказал, чтобы она переписала еще раз. Еще один вздох, и снова — сопение за партой. Третья страница была написана еще хуже, чем вторая, и с еще большим числом ошибок.

Тут Билл Халл задал мне вопрос, который я должен был задать себе сам и все мы должны задавать себе: «К чему ты стремишься и чего ты этим добился?»

От этого вопроса я буквально остолбенел. В школе мы очень легко впадаем в следующую ошибку: средства для достижения цели становятся у нас самой целью. Правило трех ошибок служило средством для достижения конкретной цели — научить детей чисто, красиво, а самое главное, грамотно писать. Добился ли я этой цели, жестко следуя правилу? Нет. Ребенок так волновался, что придется переписывать еще раз, что не мог сконцентрировать внимание, поэтому результат раз от раза был все хуже и хуже.

Мы должны чаще спрашивать себя, работая в школе: «К чему мы стремимся и помогут ли наши дела достижению этой цели?» Предпринимаем ли мы что-то из желания помочь детям и помогает ли это им на самом деле? Или мы действуем из простоты и удобства для школы — учителей и администраторов? А может, потому, что все остальные так поступают? Мы должны остерегаться творить добро по необходимости, подводить пышно звучащие основания педагогического характера под то, что совершаем из административной экономии или собственного удобства. Еще большая опасность, когда, начав делать что-то из чистосердечных побуждений, мы продолжаем упорно и слепо следовать этому, не сумев или не пожелав увидеть, что наши действия приносят больше вреда, чем пользы.

Когда мой коллега Билл Халл впервые появился в школе, где мы вместе вели пятый класс, его приняли помощником к заведующему кафедрой математики — пожилому человеку, учившему детей математике всю свою жизнь, а в данной школе уже много лет. Однажды в конце рабочего дня он подвел итог своей жизни следующими словами: «Я их учу, а они не учатся».

Эта мысль знакома большинству учителей, которые честно относятся к своей работе. В справедливости этих слов я вскоре убедился, начав преподавать в Колорадо. Я учил, но они не учились. Несколько хороших учеников оставались на высоте, но плохие не становились лучше. Скорее, даже наоборот. Если мы начнем искать «лучшие» школы в стране, где хотя бы немногие двоечники и троечники превратились в отличников, число таких школ будет до обидного мизерным.

Вопрос, на который я долгие годы искал ответ: «Почему они не учатся тому, чему мы их учим?» Короткий ответ будет выглядеть следующим образом: «Потому что мы учим их, то есть пытаемся контролировать содержимое их умов».

30 октября 1958

Все вокруг говорят, что, за небольшим исключением безнадежных учеников, дети знают математику в тех пределах, в которых должны знать. Но это не так. Из двадцати учеников в классе по крайней мере шесть не знают простых правил сложения, а многие считают на пальцах, хотя и тщательно скрывают это. Есть такие, кто не понимает и не может выполнять умножение и деление. Я с ужасом думаю, что будет, когда мы дойдем до разрядных значений цифр.

Путем арифметических тестов нетрудно выяснить, что весь материал, который должны знать пятиклассники, не вызывает никаких затруднений лишь у немногих. Ту же картину тесты выявят и в других классах. Некоторые девятиклассники, которых я учил и которые поступали ко мне с приличными оценками по арифметике, плохо владели делением, имели смутное представление о дробях, прежде всего десятичных.

Начинает складываться впечатление, что экзаменационные оценки становятся ареной для гигантского сговора, цель которого — заставить учащихся, учителей и администрацию школы сделать вид, будто ученики знают все, что им положено знать, тогда как по сути они знают лишь толику необходимого, а то и вовсе ничего. Не для того ли мы объявляем о предстоящих экзаменах заранее, чтобы дать учащимся шанс нахвататься поверхностных знаний при подготовке? Почему учителя даже выпускных классов всегда заранее и подробно рассказывают об экзаменационных темах и даже о типах вопросов, которые будут задаваться? Потому что в противном случае слишком много учеников провалится на экзамене. Что бы произошло в Гарварде, если бы профессор устроил внезапный экзамен в марте по материалу,

пройденному в октябре? Все знают, что из этого получится, потому и не устраивают внезапных экзаменов.

Какие бы результаты ни показали экзамены, совершенно очевидно, что ученики усваивают очень мало из того, чему их учат, запоминают очень мало из того, что усваивают, и используют на практике очень мало из того, что запоминают. Они усваивают, запоминают и используют только то, с чем сталкиваются в повседневной внешкольной жизни.

20 марта 1959

Сегодня Джейн на высоте, что, несмотря на своенравное поведение в классе, делает ее одной из лучших и многообещающих учениц, каких я когда-либо знал. Я стоял у доски и старался объяснить ей деление столбиком, когда она вдруг сказала: «А мисс В. (ее учительница в четвертом классе) говорила нам, что нужно брать первую цифру...» Тут она заметила тень сомнения на моем лице и, тотчас поняв, что я не одобряю это правило, продолжила: «Это была не мисс В., это был кто-то другой». Затем она продолжила разговор о делении.

Я был очень тронут. Немногие взрослые придали бы значение тому, что заметила она: слова девочки пусть, в малой степени, могли уронить авторитет мисс В. Более того, немногие взрослые, получив шанс взвалить хотя бы часть своей вины на отсутствующую мисс В., вместо этого начнут отрицать свои же слова, чтобы защитить учительницу. При всех наших высоких разговорах о верности ни один взрослый на тысячу не проявит такой верности, какую проявила эта маленькая девочка по отношению к своей бывшей учительнице. Едва ли она поступила так намеренно и обдуманно. Для нее защитить даже просто подругу от обвинения или просто от критики — такое же инстинктивное движение души, как дыхание.

Школьные учителя стремятся подменить понятие «хороший характер» понятием «хорошее поведение». Больше всего они ценят в учениках послушание, граничащее с внушаемостью, то есть ценят таких детей, которые делают все, что им говорят, а еще лучше — то, что учитель хочет, даже если не говорит об этом. Они ценят в детях то, что сами дети ценят в себе меньше всего. Неудивительно, что их попытки воспитать характер оканчиваются неудачей, которую они даже видят, но не понимают. Джейн — хороший тому пример. Она оказалась крепким орешком для всякого, кто учил ее. Даже в такой довольно-таки либеральной школе ее поведение казалось едва ли терпимым, в других школах ее давно уже выставили бы за дверь. Из многих взрослых, которые знали ее, вероятно, очень немногие увидели ее необычайные способности и по достоинству оценили их. И все же, как ни много хлопот она доставляла, я бы хотел, чтобы у меня было побольше таких учеников.

Кто-то назвал мужество «прекрасной добродетелью». Оно действительно прекрасно, особенно в маленьких детях, таких слабых и беззащитных, у которых так много причин бояться чего-либо.

*За очень немногими исключениями, школьные преподаватели не ценят в детях мужество. Не понимая этого качества и не имея его в себе, они боятся его и делают все, чтобы подавить. Они думают, что храбрых детей трудно держать в повиновении, и наоборот, робких — легко контролировать. Но получается как раз наоборот. Открыто не повинующиеся, неистовые буяны, заполнившие не только школы, но и города, всю страну, на самом деле **далеки от храбрости**, поскольку делают все, чтобы только выглядеть «достойно» в глазах толпы сверстников, угождая любой ее прихоти.*

Если бы школы научились распознавать, ценить и воспитывать в детях храбрость, множество серьезнейших проблем, не только успеваемости, но и дисциплины, постепенно нашли бы свое решение. Однако слишком мало признаков того, что это может случиться.

11 апреля 1959

Темы, на которые дети говорят со мной в классе, когда им вообще разрешено говорить, вряд ли можно назвать задушевыми. Только однажды в конце классной дискуссии я подобрался близко к реальной жизни этих детей. Один раз мы поговорили о местах, где можно прятаться, и совсем недавно — о прозвищах.

Прозвища восходят к древнеримской истории. Пришло время, и в Риме толпа достигла большого политического влияния, поэтому способность возбуждать толпу была ключом ко всяким высоким постам. Ученики спросили — как? Я ответил, что это делалось главным образом с помощью прозвищ. Простейший способ возбудить толпу против своего политического противника — дать ему меткое прозвище, такое, чтобы толпа повторяла его с ненавистью. Дух толпы в этих детях был еще слаб, он разовьется у них через несколько лет, поэтому они отнеслись к моему рассказу скептически. Они стали спрашивать, какого рода прозвища могут возбудить толпу.

Вместо ответа я предложил им назвать прозвища, ненавистные им самим. Мы начали составлять список. Вскоре доска была сплошь исписана прозвищами. Примерно половину, как я и ожидал, составляли обычные для одиннадцатилетних детей «обзывалки» типа идиот, тупица, кретин, жирный слюнтяй, остолоп и т. д. Остальные же удивили меня. Это были выражения нежности, привязанности.

Глаза детей сверкали от энтузиазма и стремления как можно сильнее выразить свое презрение ко всем прозвищам, которые, по мнению взрослых, им нравятся больше всего. Кто-то произнес: «Дорогуша — фу-у-у!» — под хор одобрительных возгласов. Кто-то добавил: «Голубчик — фи-и-и» — и снова всеобщее одобрение. Перечислены были практически все выражения нежности.

Никто не сказал: «Ну почему, это звучит неплохо». В какой-то степени это можно объяснить тем, что детей захватила игра, но по тому, как они выглядели и как выражались, я твердо понял, что они действительно думают то, что говорят, что им ненавистны привычные для взрослых выражения нежности.

Почему так получилось? Разумеется, десять лет — героический возраст для подростков. Своим поведением они напоминали мне героев Гомера. Они такие же придирчивые и драчливые, обладают таким же сильным и трогательным чувством чести, так же верят, что на каждое публичное оскорбление нужно отплатить тем же, причем с процентами, они так же самозабвенно преданы друзьям и так же часто меняют друзей, у них такое же смутное представление о честной игре и такое же восхищение хитростью, коварством и обманом, они одновременно и скупы, и крайне щедры — ни один пустяковый предмет у них нельзя взять, но сами они отдают все что угодно и что им в данный момент не нужно. Они не чувствуют себя маленькими детьми и не любят, когда их называют маленькими.

Но и это еще не все. Они обижаются на выражения привязанности, потому что слишком часто слышат эти слова из уст людей, которые вовсе не думают то, что говорят. Все, кто в наше время имеет дело с детьми, слышали изречение, что дети нуждаются в любви и должны быть любимы. Но даже тем, кто любит их больше всего, дети не всегда в радость. Часто своей раздражительностью они напоминают стариков. Неудивительно, что есть взрослые, которые не очень любят детей, если вообще любят. Но они чувствуют, что должны любить детей, что это их обязанность, и пытаются создать видимость любви поступками или хотя бы словами. Отсюда и происходит бессмысленное употребление слов, выражающих нежность, произносимых слащаво-приторным тоном при обращении к детям. К десяти годам дети сыты по горло этой притворной привязанностью и прекрасно видят, что взрослые сами не верят в то, что говорят.

3 мая 1959

Чем больше я наблюдаю за смутьянкой Джейн и чем больше думаю о ней, тем яснее становится, что ей очень нужно почувствовать себя действительно любимой. Но ощущение, что ты любима, когда ты красива, добра, послушна и т. д., в данном случае не в счет. *Любима* — неподходящее слово в данном случае, и, может быть, мне следовало сказать «ценима» или «уважаема». Она, подобно Сирано, думает, что нет ничего более презренного, чем пытаться снискать себе одобрение и привязанность других тем, что говорить и делать то, что им нравится, быть тем, чем они хотят, чтобы ты был.

Разве одно только это не восхитительно?! Возможно, когда-нибудь она поймет, что может и должна помогать людям, которых любит, не заботясь о том, получит ли она что-либо от них взамен. Однако сейчас она не считает для себя возможным открыто проявлять естественную привязанность, как и другие дети. Напротив, она считает, что должна постоянно своим дурным поведением

испытывать привязанность к себе других. Время от времени она навлекает на себя наказания за серьезные ошибки в заданиях и, будучи уверенной, что эти наказания чересчур строгие, впадает в неистовый бунт, причем сама не знает, как из него выйти.

Последние дни мы обедаем за одним столом, и могу сказать, что она составляет очень приятную компанию. Налицо даже некоторые сдвиги в манере держать себя за столом. Я мечтаю убедить ее, что ей нет нужды ежедневно подвергать жестоким испытаниям нашу привязанность к ней, хотя и понимаю, что только время расставит все на свои места. Вчера за обедом она сказала мне: «Ненавижу учителей!», а затем одарила меня улыбкой на сотую долю секунды и больно ударила по руке. Насколько легче станет ее жизнь, если мы не будем постоянно вынуждать ее делать выбор между одобрением взрослых и ее собственным самоуважением.

После окончания занятий в школе я не видел Джейн до середины лета, когда мы с друзьями приехали отдохнуть на побережье, где она жила. Мы свернули за угол и увидели ее на другой стороне улицы с двумя подругами. Она тут же подбежала и встала передо мной. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Я ответил: «Просто собираемся на пляж, если ты не возражаешь». Она смотрела на меня секунду или две молча, а затем произнесла: «Учителя!» — добавив что-то о том, что, мол, некуда от них деться. На этой ноте мы и расстались. Но я был очень рад увидеть ее.

Той осенью, поскольку я преподавал уже в другой школе, мы не виделись до самого ноября. Однажды я увидел ее на улице. Она тоже заметила меня и побежала навстречу. Я ждал, что она снова потребует от меня объяснений, что я тут делаю, но вместо этого она с разбегу бросилась мне на шею, к полному моему удивлению. От удивления и радости я потерял дар речи. Она помнила меня! Я поставил ее на тротуар, и мы стояли некоторое время, с удовольствием рассматривая друг друга. Но тем для разговора было мало: «Как в школе?» — «Нормально». — «А как новая школа?» — «Прекрасно». Затем мы распрощались и разошлись в разные стороны. В следующий раз я встретил ее, когда она была уже слишком взрослой, чтобы так открыто выражать свои чувства.

Прошлым летом я встретил ее снова, теперь уже тридцатилетней замужней женщиной. Я признался ей, что она была моей самой любимой ученицей в классе. Это ее удивило. Взрослым свойственно забывать, что они думали и чувствовали в десятилетнем возрасте.

3 июня 1959

Я проверил и поставил оценки за контрольные работы по математике. Результаты не столь обескураживающие, как на прошлой неделе. Большинство детей написало работу немного лучше. Но одно исключение показало, что зубрежка не всегда помогает, как думают люди. Кэролин писала первую работу

после двухнедельного пропуска занятий, пропустив объяснение нового материала. Она удивила меня, получив 15 баллов из 25. Сегодня же, спустя неделю и после усердного повторения пройденного, она получила всего 7 баллов. Получается, что она узнала больше за пределами школы, чем в классе.

Это удивило меня тогда, но не удивляет теперь. Большинство детей узнают для себя больше за пределами школы, чем в самой школе. Как я уже подчеркивал, когда ребенок болеет и не может ходить в школу, администрация посылает к нему домой репетитора, чтобы он не слишком отстал от программы. В большинстве случаев репетитор занимается с ребенком два-три часа в неделю, а иногда и еще меньше. Но этого оказывается достаточно, чтобы ребенок не отстал от одноклассников и даже немного ушел вперед; у него дома достаточно времени для чтения, и чтение или иная работа не прерываются обычной школьной зубрежкой.

Просмотрев столбец из крайне низких оценок, я пожалел, что устроил эту контрольную работу. Хорошим ученикам она просто не нужна, а у плохих за месяц с лишним подготовки к контрольной оказалось выбито зубрежкой даже то чувство здравого смысла, которое они обрели за весь предыдущий год. Глядя сегодня на Монику, готовую разрыдаться, но не знающую даже, как подступиться к большинству из задач, я почувствовал, какую глубокую травму нанес ей этой работой.

Над материалом, пройденным той осенью, можно и нужно было еще работать и работать, но дети научились самостоятельно думать, обрели уверенность в себе, в своих силах. Бен, постепенно превращавшийся из слепого производителя в одаренного богатым воображением мыслителя, снова вернулся к худшей из стратегий — следованию «кулинарным рецептам». Может быть, и вся наша жизнь состоит из бесконечной череды контрольных по математике, а кто-то ходит между рядами и подгоняет нас? И кого мы собираемся вырастить — интеллигентных людей или специалистов по написанию контрольных работ?

Ответ на этот вопрос найти нетрудно. Школа явно заинтересована во втором типе, а не в первом. Ничто другое не имеет для нее никакого значения.

Я вспоминаю старого моряка, главного механика выдавшей виды учебной подводной лодки в Ки-Вест, который, надрав до блеска изношенные механизмы перед инспекторской проверкой, горько произнес: «Сверкать-то они сверкают, да кого интересуется, будут ли они работать!»

Должен быть найден способ обучать детей так, чтобы великие человеческие качества при этом не затаптывались, а развивались. Но этого никогда не будет, пока мы одержимы навязчивой идеей контрольных работ и всякого рода тестов. На заседании педсовета мы обсуждали вопрос, как и чем поощрять мыслителей в классах. Кто кого обманывал? Никакие награды и поощрения небольшой группы учеников не помогут Монике оправиться от того, что она пережила сегодня на годовой контрольной, когда она знала, что не напишет ее и что ее ждет провал. Приятные переживания никогда не покроют

собой болезненных. Ни один ребенок, который однажды обжечся, не согласится обжечься еще раз ни за какие соблазны. При всех наших добрых намерениях в школе больше кнута, чем пряника, и пока положение будет сохраняться таким, дети будут идти по пути, который доставляет им наименьшие хлопоты. Как мы можем воспитать в них радость, равнодушное и открытое отношение к людям, если мы строим школьное образование на принципе святости «правильных ответов»?

8 марта 1960

Вчера одна учительница произнесла вслух то, что я не представлял себе раньше сам, но что очень точно объясняет причину неблагополучия нашей школы. Во время прошедших каникул я посетил школу, в которой еще шла сессия. Эта школа пользовалась репутацией «очень хорошей» и «строгой». Директриса, очень приятная женщина, спросила меня, где я преподаю. Когда я ответил, она сказала с притворной скромностью: «Боюсь, наша школа покажется вам очень старомодной». Но она пригласила меня, и очень настойчиво, посетить урок арифметики в четвертом классе, который вела учительница, долгие годы считавшаяся гордостью всей школы. Вскоре после того, как я пришел, урок начался. Дети решали примеры на умножение и по очереди зачитывали ответы из своих проштампованных тетрадей. Все шло гладко, пока вслед за одним учеником, прочитавшим свой ответ, не поднял руку другой. «Что ты хочешь сказать, Джимми?» — спросила учительница с явным неудовольствием из-за того, что гладкий ход урока прерван. «У меня получился другой ответ», — сказал Джимми, но прежде чем он успел сказать что-то еще, учительница твердо произнесла: «Я уверена, Джимми, что нам нет нужды выслушивать *неправильные* ответы». И больше Джимми не произнес ни слова.

Эта женщина далеко опережает других учителей по уровню мышления и опыту, четко и ясно формулирует свои мысли. Однако за двадцать лет педагогической практики ей ни разу не пришла в голову мысль, что стоит иногда задержаться на пару минут, чтобы выслушать очередного Джимми с его неправильным ответом только лишь для того, чтобы понять ход его мысли, уяснить причину заблуждения. Почему все называют ее очень хорошим педагогом? Я полагаю — за ее способность легко управлять детьми, что она и продемонстрировала. Возможно, и сам Джимми считает ее очень хорошей учительницей. Ни один ребенок не подумает, что в том, что он плохо знает арифметику, прямая вина этой приятной наружности леди. Скорее, они будут винить себя, считать себя слишком тупыми.

Мне понадобился не один год, чтобы понять, насколько распространен данный стереотип учителя.

Если мы возьмем себе за труд заглянуть в корень вопроса, то поймем, что многие «неправильные ответы» не столько неверные, сколько разумные и здравомыслящие. Не так давно одна молодая учительница из Вермонта

*написала мне, что встретила с неожиданной проблемой при разборе задачи из учебника по арифметике. В задаче говорилось, что на покраску окна ушло 1½ банок краски, и спрашивалось, сколько половин банок это составило. Один из учеников ответил: «Одна половина». Когда учительница спросила его, почему он так решил, мальчик ответил: «Была **одна** целая банка и **одна** половина». В этой логике трудно найти изъян, ведь в реальной жизни мы бы увидели не три половины банки, а именно одну целую и одну половину. Однако подавляющее большинство учителей, особенно при тестировании с помощью механических устройств, зачтут этот ответ как неправильный.*

17 апреля 1960

Первоклассники учатся читать по методу Гиллингхэма, который считается хорошо разработанным и получил всеобщее одобрение. Метод требует, чтобы дети могли твердо различать гласные и согласные буквы. Но вместо того чтобы четко сказать, какие буквы относятся к гласным и какие к согласным, детям предлагается усвоить разницу на основании определений гласных и согласных звуков — худшим путем из всех возможных, даже если определения продуманы до мельчайших подробностей. Учителя объясняют детям: «Согласные звуки короткие и произносятся без участия голосовых связок». Дети должны выучить это определение и уметь приводить примеры. Однако тут они заходят в тупик, поскольку данное определение, хотя и верное для большинства согласных, не может быть распространено на z, g в слове George, на l, r, m, n и v и лишь частично распространяется на s, f, sh и ch. В конце концов дети понимают, что гласные буквы называются гласными просто потому, что люди решили их так называть, но до той поры ущербное определение согласных доставит им немало хлопот.

Почему мы говорим детям то, что после всего лишь минутного осмысления оказывается заблуждением? Отчасти потому, что сами мы не нуждаемся в определении гласных и нас не беспокоит его несостоятельность. Я знаю, что такое собака и что такое гласный звук, и меня не беспокоит определение этих понятий. Как и многие дети, мы склонны слепо следовать правилам, не задумываясь и не проверяя их на фактах. Но главная причина в том, что нас не заботит разница между тем, что мы говорим детям и что думаем. Мы недооцениваем их интеллектуальные способности, благодаря которым они (по крайней мере поначалу) обдумывают то, что слышат, пытаются понять и очень пугаются, если у них ничего не выходит.

Мы сами приучаем детей к нелогичным поступкам. Один мальчик, хороший ученик, трудился над задачей: «Если у вас есть шесть кувшинов емкостью по три пинты и вы решили налить по две трети пинты лимонада в каждый из кувшинов, сколько всего понадобится лимонада?» У него получилось 18 пинт. Я спросил: «Сколько лимонада нужно налить в каждый кувшин?» Он ответил: «Две трети пинты». Я спросил: «Это больше или меньше пинты?» — «Меньше». Тогда я спросил: «А сколько было кувшинов?» —

«Шесть». И тут я сам понял, насколько бессмысленно разливать четыре пинты лимонада по шести кувшинам. Но от школы трудно ожидать здравомыслия. Они говорят детям, что это факт или правило, а детям остается только записать их и повторить устно. Неважно, значит данный факт что-то или не значит.

В некоторых первых классах я видел на стене плакаты типа: «Когда две гласные выходят погулять, вторая будет молчать» («When two vowels go out walking, the first one does the talking»). Все прекрасно, за исключением маленькой мелочи — в тексте этого плаката две пары гласных, и обе противоречат смыслу данного правила. Чего же тогда требовать от детей?

Последние годы многие учителя говорили мне, что «это правило» все еще висит на стенах их классов.

Однажды в гостях у знакомого тот стал убеждать меня, что преподавание в наших школах вполне предметное и тесно связано с жизнью. Спустя десять минут во дворе я спросил дочку своего приятеля, которая училась во втором классе:

Как дела в школе?

Нормально.

Что вы сейчас проходите? (Никогда больше не буду задавать этот вопрос.)

После долгой паузы она ответила:

Что-то о различии между «идти» и «ходить».

Ну, и как правильно сказать: «Я сегодня иду в кино» или «Я сегодня хожу в кино»?

Еще одна глубокомысленная пауза.

Не знаю. Я могу сказать, только когда слова написаны на доске.

Позднее я рассказал эту историю родителям девочки, взяв с них слово молчать. Только тогда они, сокрушенно вздохнув, сказали, что, кажется, начинают меня понимать.

В одном втором классе учительница на уроке фонетики спросила детей: «С какой буквы начинается слово “Потомак”?» Послышались голоса — П, Т, В и еще какие-то буквы. Дети пытались перехватить подсказку друг у друга, и поскольку в классе было хотя бы несколько человек, знавших правильный ответ, в конце концов все сошлось на букве П. И учительница осталась явно удовлетворенной этим! Потом она подошла к карте, висевшей на стене, и спросила: «В каком направлении вы полетите, если вам нужно на восток?» Руки детей показывали всевозможные направления, пока снова весь класс не внял мнению нескольких здравомыслящих учеников под одобрительный кивок учительницы.

Затем на уроке музыки дети получили задание касаться рукой носка ноги всякий раз, когда они услышат ноту си. Учительница играла простенький марш, под который дети ходили по кругу. Всякий раз на ноте си учительница делала небольшую паузу, и дети касались рукой носка ноги. Естественно, дети не

касались носка, если паузы не было, и касались, если пауза делалась на другой ноте. А учительница полагала, что научила детей ноте си! И повторяла свой метод десятки раз — в одной из «лучших» школ!

*Учителя, которые не понимают, что детям нравится учиться, и которые думают, что учение — нудный процесс (потому что таковым он был и остается для них), очень часто стараются превратить урок в забаву, как это было с нотой си. Журналы по педагогике полны подобного рода «развлекушек». Но игры требуют огромного времени для подготовки и проведения, они занимают едва ли не полный школьный день или, по крайней мере, с молниеносной быстротой приближают звонок, возвещающий об окончании урока. А ведь по сути они лишь усложняют и запутывают процесс обучения. На языке радиолюбителей полезный сигнал (то, к чему стремится учитель) **полностью забивается помехами**. В примере с нотой си на что именно была направлена активность детей? Ходить по кругу, касаться рукой носка ноги или слушать музыку? Как они могут применить свой разум для решения задачи, если они не знают, в чем она заключается?*

В подобных ситуациях дети, естественно, пытаются схватиться за любую соломинку. Мы, учителя, должны научиться ставить задачу так, чтобы все «ложные тропинки» были отсечены, хотя и такие иногда приводят к верному результату. Мы должны понимать, что дети пытаются прочесть «полезный сигнал» на наших лицах.

А они должны искать свой собственный путь к решению задачи. Я часто спрашиваю в таких случаях детей: «Почему вы смотрите на меня? Ответ не написан у меня на лбу». Лучше, если в минуты размышления они вообще не будут видеть наших лиц.

Когда ребенок находит ответ несправедливыми средствами, получает похвалу за знание того, что он в действительности не знает, и знает, что он этого не знает, вред от этого получается двойной. Во-первых, путаница в его голове не проясняется, а во-вторых, он начинает верить, что сочетание обмана, догадки, чтения мыслей, улавливания намеков и подсказок — именно то, что от него требуется в школе, что в этом и состоит обучение, что другого подхода просто не существует.

22 апреля 1960

Труди должна была сложить $20+7$. Она сосчитала на пальцах. Я подумал: «Что теперь?» Мне казалось, что я добрался до самых глубин незнания этих детей, но в очередной раз ошибся. На чистом листе бумаги я написал $10+3 = ?$ Она снова сосчитала на пальцах, и я записал ее ответ — 13. Ниже этого примера я написал $10+9 = ?$ Она получила 19, и я записал это число. Так я предлагал ей сложить $10+4$, $10+5$, $10+3$, $10+6$, $10+2$. Всякий раз она считала на пальцах. Затем я снова написал $10+6$. Она сосчитала на пальцах, получила 16 и посмотрела на лист бумаги: «Мистер Холт, получается все время 1 и еще та

цифра, которую мы прибавляем». Открытие! Я очень обрадовался и сказал: «Да, ты совершенно права». Затем я предложил ей решить примеры $20+5$, $20+9$, $20+6$, $40+3$ и т. д. Все эти примеры она решила без помощи пальцев.

Преодолев свою радость за нее и за себя, я стал думать дальше. Усвоила ли она действительно что-то и сможет ли воспользоваться этим знанием в других ситуациях? Поняла ли она, что цифры складываются именно так, или для нее это просто таинственное совпадение? Дошел ли до нее смысл, или для нее это очередной «кулинарный рецепт», который нужно запомнить, чтобы не «попасться» в следующий раз? Если так, вскоре она вернется к счету на пальцах — методу, наиболее проверенному и надежному для нее.

Я полагаю, что этому ребенку говорили уже тысячу раз, а может быть и две тысячи, что прибавлением числа к 10 получается ответ в виде числа, у которого спереди 1, а после нее та цифра, которая прибавляется. И все же, когда она пришла к этой мысли сама, это показалось ей новшеством, открытием. Так есть ли смысл повторять ей это снова? Когда вы десятки раз показываете ребенку, как сделать что-либо, а он не может это сделать, можете спокойно прекратить дальнейшие попытки. У вас нет реальной связи с тем, что происходит в мозгу ребенка. Надо подойти к делу с другого конца.

Однажды я попросил Трудю написать таблицу умножения на 7. Она считала на пальцах каждую строчку, даже 7×2 . Ей говорили тысячу раз, что $7 \times 2 = 14$, и сама она писала это сотни раз. Возможно, она даже знает ответ, но не полагается на это знание и считает, что безопаснее сосчитать на пальцах. Так она добралась до $6 \times 7 = 42$, но затем сделала типичную ошибку, которую дети делают от невнимательности: она написала $8 \times 7 = 49$. Естественно, она не заметила ошибки и написала ниже $8 \times 7 = 56$, но цифру 6 написала небрежно, как 0, и в результате в следующей строке появилось $9 \times 7 = 57$, затем $11 \times 7 = 64$, $12 \times 7 = 71$. Я не увидел в ней ни тени сомнения, когда она писала весь этот абсурд. Ведь она считала на пальцах, а это самый надежный способ. Как же она могла ошибиться?

Я дал ей другой листок бумаги и предложил повторить умножение на 7 сначала. На этот раз получились следующие результаты: 7, 14, 21, 28, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85.

Я забрал этот листок и положил перед ней чистый. На третий раз я указал ей на ошибку, она поправилась и получила ряд правильных ответов.

И тут мне пришла, как тогда показалось, блестящая идея. Я подумал, что, если бы смог заставить ее задуматься над тем, что она пишет, она заметила бы свои ошибки, и это заложило бы основу подсознательного самоконтроля в ее мозгу. Я разложил перед ней все три листка и попросил, поскольку ответы на них разные, сравнить их и пометить галочкой те, которые кажутся ей правильными, и крестиком те, что кажутся ей неверными, а сомнительный — знаком вопроса.

Спустя некоторое время я получил один из самых неприятных сюрпризов в своей педагогической практике. Она пометила на последнем листке 7×1 как правильный и *все остальные* как неправильно решенные.

Бедный ребенок был раздавлен и уничтожен школой. Годы объяснений, зубрежки и контрольных — весь процесс, который мы называем обучением, — не дали ничего и, что еще хуже, выбили из нее изначальное чувство здравого смысла. Что еще могла она показать за пять лет страданий над арифметикой? Какой она станет, когда вырастет? Как она собирается жить в мире взрослых? Какого рода крепость из заблуждений строит она в сознании для самозащиты?

Меня не оставляло ощущение, что в любом случае ей лучше было бы вообще никогда не изучать арифметику. Все, что она дала ей, — это негативное отношение к школе как к месту, где приходится постоянно избегать опасностей, где она почти ничего не узнала и не использовала ничего из того, что узнала или знала раньше.

Двадцать один год спустя я вновь с горечью убедился, как мало пользы извлекли из подобных историй школа и вообще все наше общество, а ведь подобных случаев по стране — миллионы. Этот ребенок действительно был раздавлен и уничтожен школой. Может быть, не одной только школой, и не в первую очередь ею. Но из всего плохого, что видела эта девочка в жизни, школа — худшее.

*Положим, я сказал ей: «Делай что хочешь и столько времени, сколько тебе нужно, но только в конце этого времени скажи мне, сколько будет дважды семь, но с тем условием, что ты будешь **абсолютно уверена в правильности своего ответа**». Справится ли она с задачей в такой постановке? Почти наверняка — нет. Она не доверяет числам и вообще физическому миру, не верит в себя, не верит школе и в данном случае лично мне. Как она может быть уверена, что, сказав $7 \times 2 = 14$, не услышит в ответ мои наводящие вопросы, какие-то непонятные фокусы и не окажется в глупом положении еще раз? Только одно она усвоила в школе прочно: как сказал однажды Уинстон Черчилль, учитель задает вопросы не для того, чтобы выяснить, что знает ученик, а для того, чтобы выявить и выставить на всеобщее обозрение его незнание. Вопросы учителя, как и контрольные работы, — это **ловушки** для учеников. Она столько раз попадалась в эти ловушки, что еще раз испытывать судьбу не захочет даже со мной. В отличие от других учителей я не кричу на нее, когда она ошибается, но все равно в ее глазах я учитель, как и остальные.*

Если предоставить ее самой себе, вполне вероятно, что в мире, полном чисел, она узнает о них больше, чем в школе. И даже исходя из того, что к десяти годам она ничего не знает о числах, что на деле далеко от истины, самостоятельно она уйдет куда дальше. По крайней мере, ее мозг не будет забит всякого рода чепухой — неверными «фактами», бессмысленными правилами, запутанными умозаключениями.

27 апреля 1960

Похоже, что нас, учителей начальной и средней школы, в действительности больше всего заботит, как показать, что наши дети знают больше, чем на самом деле. Наше положение среди других учителей, положение нашей школы среди других школ зависит от того, как будут выглядеть наши ученики, а не от того, что они знают или как эффективно могут использовать свои знания, если вообще могут. Чем больший материал мы сможем включить в учебную программу, тем лучше будем выглядеть на фоне других, и чем убедительнее мы сможем показать, что выходящие из нашего класса ученики знают все то, что должны знать, тем легче избежим порицания, если потом окажется (а так обычно и бывает), что изрядную долю материала они вообще не знают.

Когда я работал в школе последний год, старших преподавателей задержали на неделю после начала каникул, чтобы подвергнуть тесту, подготовленному Советом учебного заведения. Преподаватель античной истории, опираясь на долгий опыт, объяснил нам, что мы должны будем написать за двадцать минут свои ответы по пятнадцати вопросам, список которых он нам вручил. Мы понимали истинную ценность теста: показав плохой результат, мы окажемся за порогом школы. Тест показал, что мы хорошо знаем античную историю, хотя мы знали ее плохо, что у нас хороший преподаватель истории, хотя таковым он не был, а школа получила репутацию престижного учебного заведения.

Я шел собственным путем. Только начав преподавать, я наивно полагал, что цель контрольных и тестов — выяснить, что ученики знают из пройденного курса. Однако очень скоро я понял, что, если устрою внезапный тест на весь пройденный до сего дня материал, провалятся почти все. Мое нежелание устраивать тесты создавало проблемы для всей школы. Я понимал, что единственный способ получить приличный процент успеваемости — объявить о тесте заранее, объяснить, какой материал этот тест будет охватывать, попрактиковаться в ответах на вопросы, которые будут поставлены в тесте, и все это назвать повторением пройденного материала. Позднее я узнал, что учителя делают это повсеместно. Мы знаем, что это не очень честно, но не рискуем отказаться от подобной практики, стараемся найти себе оправдание, утешаем себя тем, что большого вреда от этого нет.

Это приносит вред прежде всего потому, что нечестно, и дети знают это. Мои друзья и я, пройдя через сито теста по античной истории, понимали, что то представление разыгрывалось для кого-то другого, хотя и не знали для кого. Тест прошел удачно не благодаря нашим знаниям, весьма скудным, а благодаря мудрым предсказаниям нашего школьного учителя. Даже малолетние дети прекрасно понимают, что учитель хочет и вознаграждает не знания и понимание, а лишь их видимость. Наиболее смысленные начинают понимать, что школьные учителя научат их обходить законы. И они преуспевают в этой науке. Они становятся экспертами в вынюхивании того, что учитель не сказал, а часто даже и не подумал, а просто подсознательно предпочитает, и извлекают

из этого пользу для себя. Из того, с каким удовольствием мой первый учитель английского декламировал стихи, я понял, что он предпочитает длинные сложные предложения с глаголом на конце. И я стал вставлять по крайней мере одно такое предложение в каждое из своих сочинений и, разумеется, получил в году отличную оценку за предмет.

Это приносит вред еще и потому, что те немногие, кто ищет честных путей вопреки всему, разувериваются в своей правоте. Ученик, которого не удовлетворяет просто знание «правильных ответов» или «кулинарных рецептов», не сделает свое существование в школе относительно спокойным, поскольку факты и рецепты — все, что его учителя знают. Они становятся нетерпимыми к ученикам, которые хотят знать — не просто что произошло, а почему это произошло так, а не иначе. У учителей редко достает знаний, чтобы отвечать на подобные вопросы, а еще меньше времени на отвлечения от основной темы.

Короче говоря, наш метод обучения «расскажи и проверь» оставляет большинство учеников в замешательстве, в ощущении того, на какой шаткой основе зиждется их академическая успеваемость, и в уверенности, что школа — главное место, где нужно следовать бессмысленным процедурам, чтобы давать бессмысленные ответы на бессмысленные вопросы.

10 июля 1960

Два аргумента выдвигаются в пользу проведения тестов. Один состоит в том, что угроза теста заставляет детей работать интенсивнее. Другой состоит в том, что тест помогает учителю выявить фактический уровень знаний ребенка. Оба аргумента ложные. Под угрозой теста дети начинают работать хуже, а не лучше. Тесты не показывают ни того, что дети знают в действительности, ни того, как много знают хорошие ученики, ни того, как мало знают плохие.

Однажды я работал с Труди и Элинор, одной из самых не способных к арифметике учениц. Я написал на доске пример:

$$\begin{array}{r} + 256 \\ 327 \\ \hline \end{array}$$

Затем я разобрал этот пример медленно, шаг за шагом, и дал им достаточно времени на обдумывание каждого моего шага, пока я не получил ответ 583 и не написал его на доске. Затем рядом со старым примером я написал новый, так что на доске оказалось написано:

$$\begin{array}{r} + 256 \\ 327 \\ \hline 583 \end{array} \qquad \begin{array}{r} + 256 \\ 328 \\ \hline \end{array}$$

Я сказал: «Мы собираемся прибавить нечто к 256 еще раз, но теперь уже не 327, а 328. Этот пример решите вы сами». Неужели они не увидят, что ответ будет на 1 больше моего, то есть 584? Нет, после долгой работы над примером на своих листочках бумаги они осторожно спросили: «353?»

Затем я написал новый пример, решил его вслух, шаг за шагом, пока они не убедились, что он решен верно. Рядом я написал точно такой же пример, так что на доске было написано:

$$\begin{array}{r} + 245 \\ + 179 \\ \hline 424 \end{array} \qquad \begin{array}{r} + 245 \\ + 179 \\ \hline \end{array}$$

Я предложил им решить второй пример. Они не увидели, что это тот же пример, и снова склонились над бумагой. Через некоторое время они сказали: «Получилось 524».

Я повторил тот же ход, используя пример $88+94 = 182$, но на этот раз они заметили, хотя и спустя некоторое время, что это тот же пример и должен иметь тот же ответ.

Тогда я написал $2 \times 12 = 24$ и $2 \times 13 = ?$ Элинон быстро сказала: «Я не могу решить пример тем же методом», но через некоторое время все же дала правильный ответ — 26. У Труди получилось 68. Она прочитала мои мысли по моему лицу и тут же сказала: «Подождите минуту». Через некоторое время она написала 36. Я спросил: «Как ты получила этот ответ?» Она подошла к доске и написала $2 \times 12 = 24$, $3 \times 12 = ?$ Она даже не заметила, что изменила пример. Затем Труди сказала: «Нет, должно быть на 1 больше». Она написала $2+1 = 3$, $4+1 = 5$, а затем ответ — 35, после чего спросила: «Так правильно?»

Вскоре Элинон сообщила мне, что $20+10 = 29$.

Эти дети, как и большинство учеников начальной школы, раз или два в году проходили тесты, которые по какому-то заблуждению называют тестами на успеваемость. Есть несколько разновидностей тестов, все они очень похожи друг на друга и крайне бесполезны. Теоретически они дают возможность учителям измерить «успеваемость» (что за неподходящее слово для школы!) учеников в сравнении с успеваемостью учеников того же возраста по всей стране. На деле же они порождают только сплетни; предполагается, что учителя не готовят детей специально к этим тестам, но они их готовят в подавляющем большинстве, особенно в школах, где бредят высокими результатами тестирования, которые называют «высоким стандартом обучения».

Тесты составлены так, что оценка ребенка получается как эквивалент класса, в котором он учится, то есть средний пятиклассник должен показать результат 5.5 по большинству тестов, и это будет означать, что успеваемость ребенка соответствует средней успеваемости всех пятиклассников. Безнадёжно отстающие дети, с которыми я имел дело, естественно, никогда не показывали такие же результаты, как их успевающие одноклассники. Судя по результатам, они на год или два позади. В этом году мой худший ученик по тестам

соответствовал началу четвертого класса. Иначе говоря, предполагается, что он должен знать сложение, вычитание, умножение и простое деление. Но это полный абсурд. Эти дети не знают *ничего* об арифметике. По сути дела, они не знают того, что должны знать первоклассники. Точный тест, если бы такой мог существовать, должен быть действительно инструментом измерения знаний, причем в абсолютных, а не относительных величинах.

Правильнее будет сказать, что точный тест должен был бы показывать и отрицательный прогресс. После пяти лет в школе — одной из «лучших» — дети по части арифметики стали гораздо хуже образованны, чем если бы они не учились вовсе, и это касается не только арифметики.

Откуда же берутся высокие оценки? За неделю или две до тестирования учителя начинают интенсивное натаскивание детей по всем видам задач и примеров, которые встретятся на тестировании. Ко дню тестирования дети находятся в состоянии собачек Павлова: когда они видят определенную последовательность цифр и символы перед ними, загорается лампочка, поворачиваются колесики и, подобно роботам, они включаются в процесс получения ответа. Меня тоже просили заняться подготовкой детей к тестам, хотя администрация знает, что я это не одобряю. Просили извиняющимся тоном, но настойчиво, и я сдался. Плохие результаты тестов вызывают ропот среди родителей, детей становится труднее перевести в другую школу. Школа есть школа, дети имели трудности и будут иметь их, так зачем же делать их полное невежество достоянием общественности? И я поплыл по течению. Но все-таки такое ли образование нужно нашим детям?

4 декабря 1960

В одной газетной статье мое внимание привлекли рассуждения автора о стереотипах поведения. Автор провел определенное время в немецком концентрационном лагере во время войны. Он и его товарищи по заключению старались сохранить не только свои жизни, но и человеческое достоинство, сопротивляться, несмотря на свое бессилие, требованиям тюремщиков. Они надели на себя маску добродушной тупости, улыбочивой глупости, готовности, но неумения выполнять распоряжения — прямо как солдат Швейк. Они внимательно слушали, что им говорят, согласно кивали головами и задавали вопросы, из которых следовало, что они ничего не поняли. Когда продолжать эту игру становилось опасно, они выполняли распоряжения, но делали все неправильно или так плохо, как только могли. Они понимали, что это не очень серьезное противодействие военной машине Германии и даже администрации лагеря, но это позволяло им сохранять хотя бы отчасти свое «я» в безнадежной ситуации.

После войны автор много работал в разных частях света и с людьми самого разного сорта и вскоре неожиданно для себя разглядел стереотип «доброе черного малого» во многих африканских колониях, «доброе ниггера» на юге Америки, весьма похожий на ту самую маску дурачков, что они носили

в концлагере. Это сходство поразило его. Неужели они тоже делают это намеренно, во имя сохранения собственной личности? Он пришел к выводу, что это именно так. Угнетенные народы сохраняют свой уклад жизни и человеческое достоинство, прячась под маской добродушной тупости, демонстрируя куда большее невежество, чем это есть на самом деле, существенно принижая свой интеллект и способности и провозглашая, что их разум и дух свободны от поработанного тела.

Разве не нечто похожее происходит подчас в школе? Дети — тоже угнетенный народ. Школа для них — своего рода тюрьма. Они тоже избегают ненасытного прессинга взрослых, пряча свое интеллектуальное, творческое начало. Разве это не объясняет, по крайней мере частично, внезапную тупость даже блестящих учеников, так часто демонстрируемую в школе? Упрямое и проклинаемое учителями «Я не понял», которым они встречают самые подробные объяснения — разве это не форма сопротивления? Разве не способ уйти, спрятаться?

Я почти уверен, что это так. Делают ли дети это сознательно и намеренно, зависит от возраста и характера каждого конкретного ребенка. Под давлением, которому они хотят сопротивляться, не решаясь, однако, на открытое сопротивление, некоторые дети *прикидываются глупыми*. Я это видел и чувствовал сам. Большинство из них, однако, по всей видимости, не сознают, что делают. Они отрицают свой интеллект перед лицом тюремщиков, учителей, но не из желания навредить им, а просто потому, что берегут свой интеллект для иных, более важных для них целей. Свобода жить и размышлять о жизни для себя важна для детей. Ребенок отдает лишь часть времени и мыслительной энергии тому, что требуют от него другие, остальное же тратит на собственные интересы, заботы, планы, мечты. В результате он как бы отсутствует большую часть времени, которое проводит в школе. Боится он школы или не любит ее — результат тот же. Страх, скука и сопротивление — все это и порождает детей, которых мы называем тупыми.

В значительной степени школа — место, где дети учатся тупости. Ужасающая мысль, но опровергнуть ее трудно. Маленькие дети не глупы. В возрасте двух и даже трех лет они отдают себя полностью тому, что делают, поэтому и учатся довольно быстро, и общительны. Скука и апатия приходят позже. В школу дети приходят *любопытными*, но всего за несколько лет школа это любопытство полностью убивает или, по крайней мере, заглушает. Открытый в третьем классе, пятиклассник на ваши вопросы не даст ни одного искреннего ответа. У них и у самих нет вопросов, или они не задают их. Они думают: «Ну, и к чему это приведет? Какой смысл?» В прошлом году я поставил в классе ящик для вопросов в письменной форме и предложил всем спрашивать о чем угодно, пообещав, что отвечу на любой вопрос. За четыре месяца я получил один вопрос: «Сколько лет живет медведь?» Когда я рассказывал им о жизни медведей и других животных, один ученик нетерпеливо сказал: «Ближе к делу». А на лице у него было написано: «Затащил

нас в школу и делает что хочет». Любопытство, вопросы, размышления — все это остается за стенами школы. Внутри ничего этого нет.

Скука и сопротивление могут вызвать в школе такую же тупость, как и страх. Поставьте перед ребенком любую задачу из тех, что он получает в школе, и из страха, сопротивления или скуки он будет делать ее вполсилы, невнимательно, не задумываясь. Он будет выполнять ее тупо, даже если и правильно. А вскоре это войдет в привычку. Он начинает работать спустя рукава, развивая стратегию, которая позволяет ему это делать. Временами он даже сам начинает верить в то, что он глуп, и для пятиклассников это очень характерно. Они начинают верить, что работа вполсилы — это единственно возможный способ работы.

Нет смысла убеждать таких учеников быть внимательными и думать, что они делают. Я убедился в этом лично в одном из своих девярых классов в Колорадо, на занятиях по алгебре. Я говорил тупо глядящему на меня ученику: «Думай! Думай! Думай!» Напрасные слова. Он начисто забыл, как это делается. Глухая оборона и полное отсутствие воображения — это все, на что он был способен.

Мы заставляем детей целый день делать то, что взрослые вытерпят едва ли час. Кто из нас, присутствуя, скажем, на скучной лекции, не думает о чем-то своем, вместо того чтобы слушать лектора? Едва ли такие найдутся. Я к их числу не отношусь. А у детей куда меньше развита способность контролировать свое внимание, чем у взрослых. Так что нет смысла взывать к ним с призывами сосредоточить внимание на задаче. Мы можем сколько угодно терроризировать весь класс, заставляя их сидеть прямо, сложив руки на парте, и смотреть прямо и неотрывно на нас. Мысли их все равно будут где-то далеко. Внимание детей — как дикий зверек. Его надо заманить с помощью какой-нибудь приманки, поймать и не выпускать. Если учебный материал неинтересен детям, их внимание тут же ускользнет, и никакие увещевания и угрозы не помогут вернуть его.

Ребенок наиболее сообразителен, когда реальность, окружающая его, возбуждает в нем высокую степень внимания, интересуется его, то есть когда он крайне заинтересован в том, что делает. Вот почему мы должны как интерьер класса, так и содержание классной работы сделать в максимальной степени интересными, волнующими. Не для того, чтобы школа стала приятным местом времяпрепровождения, а для того, чтобы дети вели себя разумно и *привыкли* действовать разумно. Борьба со скукой в школе имеет не меньшее значение, чем борьба со страхом. Скука вызывает у детей тупость, иногда намеренную. Если она длится долго, а так обычно и бывает в школе, дети напрочь забывают, что такое концентрация разума и чувств, что такое активная позиция в решении той или иной задачи, как можно применять для этого накопленный ранее опыт, чтобы в конце концов сказать: «Я понял! Я могу это сделать!»

9 апреля 1961

В главе «Обучение всерьез» описаны некоторые из работ, которые выполняла Марджори с палочками Куизенера. Словами невозможно описать ту свободу, счастье, отсутствие всякого напряжения и беспокойства, концентрацию интеллектуальных сил, проявленные девочкой во время этой работы. Ничего подобного я раньше не видел. После многих лет в стенах школы, когда она болтала, списывала правильные ответы у других учеников и делала вид, что знает и понимает то, чего она не знала и не понимала, Марджори освободилась от всего этого.

Меня печалит и пугает то, что наш добропорядочный метод обучения оставляет очень мало возможностей для свободного мышления и реальных открытий, истинного понимания. Плохая пища для ума — еще хуже, чем плохая пища для тела. Мы сделали детей интеллектуально слабыми и недоразвитыми и, что еще хуже, — нечестными. Нет сомнений, что дети весьма сообразительны по части того, как обмануть своих учителей в отношении собственных знаний, но мы, учителя, с готовностью соглашаемся на этот обман, внушаем себе, что они знают то, что за двухминутную проверку оказывается полным незнанием.

15 июня 1961

Не так давно одна мама сказала мне: «Я думаю, вы ошибаетесь, стараясь сделать учебный процесс интересным для детей. В конце концов, в жизни им предстоит большую часть времени заниматься не тем, что им нравится, и чем раньше они к этому привыкнут, тем лучше».

Так иногда завеса из лозунгов и банальностей, за которыми скрываются большинство людей, приоткрывается на мгновение и обнажает то, что человек действительно думает. Уже не в первый раз родители говорят мне такое, но это ужасает меня всякий раз до глубины души. Что за исключительный взгляд на жизнь у исключительных граждан исключительной страны! Разве жизнь — это только нудная работа и бесконечная череда тоскливых обязанностей? Разве образование сводится к тому, чтобы подготовить детей к такому вот будущему? Это все равно как если бы она сказала: «Мой мальчик проведет всю свою жизнь рабом, поэтому я хочу, чтобы вы подготовили его к этому. Я хочу, чтобы он стал исполнительным, усердным и высокооплачиваемым рабом».

Взрослые в трудные моменты жизни, задавленные ворохом мелких и бессмысленных обязанностей и обязательств, действительно думают подчас, что жизнь — это рабство. Но, думая такое о своей жизни, нужно все-таки стремиться обеспечить лучшую жизнь своим детям. Поэтому естественнее было бы услышать: «Я упустил шанс сделать свою жизнь значительной и счастливой, так что, пожалуйста, обучите моих детей лучше, чтобы у них была не такая доля, как у меня».

Что ж, это наше дело, хотят того родители или нет.

Женщина, о которой я рассказал, привлекательна, умна, нежно любит своего сына. И все же она делилась с другими родителями и учителями такими неуважительными мыслями в отношении своего ребенка и вообще всех детей. Как будто они никогда не делали и не будут делать ничего стоящего без принуждения взрослых. Все рассказы таких женщин о себе и своих мальчиках построены по одному сюжету: сначала он не хочет делать ничего, затем она принуждает его сделать что-то, и, наконец, он делает это хорошо и, может быть, даже получает удовольствие от своей работы. Они никогда не расскажут мне, как их ребенок сделал что-то сам, без понукания, и их даже раздражает, когда я начинаю рассказывать подобные истории. Единственная его победа, которую она смакует, — та, заслугу в которой такая мама может приписать себе.

Дети чувствуют такое к себе отношение. Они обижаются, и справедливо обижаются. По какому праву мы считаем, что в детях нет ничего хорошего, за исключением того, что мы заложили в них? Такой взгляд унижает их достоинство. Более того, это ложный подход. Наши неуклюжие попытки вылепить характер ребенка на свой манер приводят к тому, что мы разрушаем не меньше хороших качеств в них, чем воспитываем, приносим не меньше вреда, чем добра.

Нет, мы делаем гораздо больше вреда, чем добра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Говоря об интеллекте детей, мы имеем в виду не их способность получать хорошие оценки на определенных тестах. В лучшем случае оценки лишь индикаторы чего-то большего, более глубокого и гораздо более важного. Истинный тест на интеллект состоит не в том, чтобы выяснить, сколько мы знаем о том, как делать, а в том, как мы поступаем, когда не знаем, как это делать.

Интеллектуальный человек, независимо от возраста, встретившись с новой для себя ситуацией или проблемой, открывает себя ей навстречу, пытается влезть в нее всем своим умом и чувствами, понимает, что он может сделать. Он думает о *проблеме*, а не о себе и не о том, что с ним может случиться. Он вступает в борьбу смело, с воображением, изобретательностью и если уж не с уверенностью в успехе, то, по крайней мере, с надеждой на него. Он не стыдится неудачи и не боится делать ошибки, потому что извлекает из них пользу. Это и есть интеллект. Ясно, что своими корнями он уходит в отношение к жизни, видение своего места в ней. Это совершенно иной стиль поведения, вытекающий из совершенно иной жизненной позиции.

Годы наблюдений и сравнений блестящих учеников с посредственными показали, что это люди совершенно разной жизненной ориентации. Блестящие ученики любопытны, с нетерпением стремятся прикоснуться ко всем реалиям жизни, отождествляют себя с ней. Нет преград между ними и жизнью. Ленивые дети куда менее любопытны, их не интересуют реалии жизни, они более склонны жить в мире своих фантазий. Блестящие ученики любят экспериментировать, стараются все увидеть и «пощупать» сами. Если у них не получается что-то одним способом, они найдут другой. Тупые дети обычно боятся всего нового. Их нужно подталкивать к экспериментированию, а если их попытка оказалась неудачной, для них это полное крушение.

Блестящие ученики терпеливы. Они стойко переносят неопределенность и неудачи и продолжают попытки, пока не найдут истину. Если все эксперименты окончились неудачей, такой ребенок не допускает даже мысли, что со временем ему не удастся решить задачу. Ожидание может раздражать его, но он терпелив. Очень часто такой ребенок предпочитает, чтобы ему не подсказывали путь к решению и вообще не решали ту же задачу, что и он, не желая ни с кем делить лавры будущей победы. Тупой ребенок не терпит неопределенности и не выносит неудач. Для него поставленная задача не шанс победить, а угроза проиграть. Если он не может быстро найти ответ, будет ждать подсказки. Это те дети, о которых один учитель второго класса сказал: «Мои дети любят получать вопросы, на которые существует только один ответ». И они получают долгожданную подсказку от учителя.

Блестящие ученики стремятся идти дальше на основе неполного знания и недопонимания. Они рискуют отправиться в плавание без карты и компаса, в

тумане и непогоде. Они часто читают книги, которые не понимают, но надеются понять позже. Так, некоторые из моих пятиклассников пытались читать «Моби Дик». Тупые ученики продвигаются вперед, только когда точно знают, где они находятся и что их ждет впереди. Для блестящих учеников вселенная — надежное место, для тупых — опасное и непредсказуемое. Последние живут в постоянном ощущении, что не могут точно сказать, что может произойти, особенно в незнакомой ситуации, но уверены, что ничего хорошего.

Никто не рождается глупым. Маленькие дети, за исключением умственно отсталых, с первых же месяцев жизни проявляют желание и способности к познанию, причем такие, что взрослые видят в них черты будущих гениев. Едва ли один взрослый на тысячу способен познать окружающий мир и вырасти интеллектуально настолько, насколько вырастают дети за первые три года жизни. Но что же с ними происходит потом? Куда деваются все эти выдающиеся способности к интеллектуальному росту?

Они разрушаются в процессе получения так называемого образования, который происходит как дома, так и в школе. Это мы, взрослые, уничтожаем в детях творческие способности тем, что делаем что-то для них или заставляем делать их. Мы уничтожаем эти способности прежде всего тем, что вселяем в их души страх — страх не сделать того, что от них требуют, страх ошибиться, не угодить взрослым. Так мы отбиваем у них всякую охоту к риску, к экспериментам, к попыткам проникнуть в неизведанное и неизвестное. Даже если мы и не создаем эти страхи собственными руками, а получаем детей уже такими, какие они есть, трусливыми, мы используем эти страхи как средство манипулирования детьми, чтобы добиться от них того, что нам нужно. Вместо того чтобы освободить их от этих страхов, мы нагромождаем все новые и новые. Мы любим детей, которые слегка боятся нас, которые послушны и почтительны, однако лишь в таких пределах, чтобы этот страх не разрушил наш собственный имидж добрых, любящих людей, которых нет причин бояться. Мы считаем идеальной категорию «хороших» детей, которые боятся нас ровно настолько, чтобы выполнять все, что мы скажем, но при этом не показывая, что именно страх заставляет их сделать это.

Мы уничтожаем в детях тягу к знаниям, заложенную природой, поощряя и вынуждая их работать за мизерное и неосязаемое вознаграждение — включение в список отличников, грамоту или диплом, которые только на то и годятся, чтобы висеть на стене и пылиться, да еще за тщеславную мысль, что ты лучше других. Мы приучаем их к мысли, что конечная цель всей их учебы в школе — получить хорошую оценку на выпускном экзамене или произвести на кого-то впечатление тем, что они якобы знают. Мы убиваем в них не только любопытство, но и понятие, что любопытство само по себе прекрасно и достойно восхищения, поэтому большинство из них к десяти годам уже перестает задавать вопросы, к тому же начинает презирать тех немногих, кто их задает.

Мы ломаем привычное представление детей о сути вещей прежде всего тем, что разбиваем жизнь на произвольные и не связанные друг с другом куски учебного материала, которые затем пытаемся соединить в одно целое такими искусственными и неуместными способами, как пение швейцарских народных песен при изучении географии Швейцарии. Мы постоянно даем им противоречивую информацию, сами того не сознавая, но, услышав чепуху того же рода в качестве ответа на уроке, относим ее не на счет плохо составленного учебного материала, а на счет глупости детей. Мы отделяем детей от их чувства здравого смысла и ощущения реального мира, требуя от них пользоваться словами и символами, которые имеют мало смысла или вовсе не имеют. Так мы делаем из детей людей, для которых все символы — бессмысленная чепуха, которые не могут пользоваться символами не только в учении, но и в общении с реальностью и которые если и читают книги, то выносят из них не больше знаний, чем до того, как открыли книгу. Меньшинство способных учеников мы, по всей вероятности, превратим в нечто отличное и опасное — сорт людей, умеющих манипулировать словами, сохраняя фактический разрыв между собой и реальностью, за которую они выступают, людей, которые любят рассуждать на общие темы, но негодующе умолкают, как только кто-нибудь попросит их привести конкретный пример того, о чем они говорят, людей, которые любят украшать свою речь о мировых проблемах словами собственного изобретения типа мегасмерти и мегатрупы, едва ли задумываясь о том, какие кровь и страдания могут стоять за этими словами.

Мы вынуждаем детей действовать глупо, не только запугивая и запутывая их, но и тем, что заполняем их день скучнейшими занятиями, повторяющимися заданиями, которые почти не требуют сосредоточения внимания и умственного напряжения от них. У нас сердце радуется при виде полного класса детей, которые упорно трудятся над решением надуманных задач. Мы убеждаем себя, что эта бесконечная нудная работа и есть подготовка их к жизни, боимся, что без нее детей будет трудно «контролировать». Но почему эта работа должна быть такой скучной? Да потому что в школе любая работа должна быть закончена и любой ответ должен быть правильным, и если мы поставим перед детьми задачу посложнее, они перепугаются и начнут тут же настаивать, чтобы вы показали им, как ее решать. Таким образом, дети приучаются использовать только часть своих мыслительных способностей. Они привыкают к мысли, что школа — это место, где они должны тратить все свое время на монотонное решение скучных задач. Они входят в глубокую колею неинтеллектуальных занятий, выбраться из которой уже не в силах, даже если захотят.

Шесть или семь лет назад я перестал разговаривать с учителями на тему о необходимости радикальных изменений в школе. К чему настаивать, чтобы они делали то, на что совершенно не способны? Вместо этого я начал говорить о небольших, недорогих, но эффективных мерах по улучшению обучения чтению, письму и математике, причем без всякого риска «обжечься».

На лекции для студентов педагогического колледжа в Иллинойсе я рассказал о своих замыслах с помощью тривиальных способов, как лучше научить детей читать, писать и считать и при этом сделать занимательной также и ежедневную работу учителя. Я призывал их проявить творческое, ответственное, а также конкретное и практическое отношение к своей работе. Надо отбросить методы, которые не работают, и искать такие, чтобы давали действенный эффект. Я рассказал им, как один из первых моих учеников задал мне такой вопрос о дробях, что я смог найти ответ на него лишь через тринадцать лет. Такие вопросы, поиски и открытия не могут не радовать учителя.

В середине своей речи я остановился, чтобы перевести дыхание, и оглядел лица присутствующих, в большинстве своем будущих учителей. Они смотрели на меня внимательно, но с каким-то странным выражением, смысл которого я не мог уловить. И тут меня осенило. Это был страх! Вопросы, которые они потом задавали, подтвердили мою догадку. Они и слышать не хотели о вопросах, требующих на поиск ответа тринадцать лет. Они хотели получать ответы сразу. Они любят, чтобы им объяснили, что и как они должны делать.

Вскоре после этого я столкнулся и с другим явлением. На такой же лекции два молодых психолога попросили меня выступить перед объединенным собранием их классов. В битком набитой аудитории я сел на краешек стола и рассказал им, как много пицци для психологических размышлений можно найти в повседневной жизни. На эту тему я никогда раньше не выступал и во многом вдохновенно импровизировал.

Переводя взгляд с одного слушателя на другого, я начал замечать, что студенты всякий раз опускают глаза, переглядываясь друг с другом. Сначала я не придавал этому значения, но потом задумался: «Что, собственно, происходит?» Вскоре я определенно убедился, что ни один из студентов не выдерживает моего взгляда, но стоило мне отвести глаза, как они снова смотрели на меня. Единственными, кто не отводил глаза, были улыбающиеся преподаватели. У меня мелькнула мысль вынести это психологическое явление на всеобщее обсуждение, но мне не захотелось смущать их. С этим же явлением я встречался затем еще много раз, но всегда только в тесных аудиториях. Видимо, в больших залах люди чувствуют себя в большей безопасности.

Если бы я мог дать совет этим молодым людям с какой-нибудь надеждой, что они последуют ему, я бы сказал: «Бога ради, делайте что угодно — путешествуйте, беритесь за самую разнообразную работу, приобретайте интересный опыт, познавайте себя глубже, — но только **избавьтесь от печати страха на ваших лицах!** Иначе ваше преподавание закончится катастрофически».

Разумеется, если бы я сам сразу после окончания колледжа пошел преподавать, это тоже была бы катастрофа. Как и те молодые люди, в двадцать один год я не очень-то доверял себе, боялся всего нового в

окружающем мире. К счастью, я начал преподавать только в тридцать лет. К этому времени у меня за плечами уже был опыт офицера подводной лодки, в том числе и боевой опыт. Кроме того, я проработал три года в государственных учреждениях, прочитал порядка шестисот лекций, пожил в разных городах Европы, проехал на велосипеде от Парижа до Рима, шефствовал над пятьюдесятью семьями с маленькими детьми. Я полностью избавился от неуверенности в себе и от страха перед окружающим миром. Благодаря этому я стал понимать, что испытания и неудачи детей в классе не угрожают моей власти над ними или чувству моего личного достоинства, а всего лишь интересные задачи, над которыми надо подумать и постараться решить.

Но что может побудить перепуганных молодых людей встать на ту же позицию? Они нуждаются в работе прямо сейчас, и преподавание — единственное, чему они учились. Что еще, кроме неквалифицированной работы, они могут делать? Не всем же так везет в жизни, как повезло мне в отношении работы.

*Значит, ничего другого им не остается, как идти в класс, будь то со страхом или без. В классе они попытаются справиться с неуверенностью и страхом единственным знакомым им способом — **ведением бесконечной психологической войны против детей, чтобы сделать их еще более уязвимыми и боязливыми, чем они сами.***

Эта война начинается рано. Одна мама недавно сказала мне, что ее пятилетний сын первые дни в детском саду вел себя, как дома, — в частности, разговаривал с приятелем. Ему еще никто не говорил, что это своего рода преступление. Вместо того чтобы объяснить ребенку правило, воспитательница громко отругала его на глазах у всех детей, затем вырезала из красной бумаги длинный язык и приколотла булавкой к его рубашке. После этого она начала смеяться над ним, называть Длинным Языком и предложила всем детям подхватить эту кличку, что они и не замедлили сделать. Вот так и ведется эта война. Под грохот ее канонады ребенку трудно узнать что-то полезное для себя.

Мы, взрослые, не слишком часто честны с детьми, особенно в школе, мы говорим им не то, что думаем, а то, что, по нашему мнению, они должны думать. Из классов, учебников, библиотек вычищены все факты и идеи, которые могут показаться кому-то неприятными или неуместными. Но мы сами не настолько правдивы с детьми, насколько это позволяет отношение родителей, инспекторов и политиков. Даже в наиболее непротиворечивых областях наше учение, книги, учебники, которые мы предлагаем детям, представляют им искаженную картину мира.

Ужасно то, что мы не чувствуем обязанности быть честными по отношению к детям. Мы манипулируем фактами, как манипулируют ими агентства новостей в Вашингтоне, Москве, Лондоне, Пекине и Париже и во всех остальных столицах мира. Мы думаем, что это наше право или даже обязанность — не говорить им правды, а говорить то, что наилучшим образом

служит нашим целям, в нашем случае — вырастить из детей таких людей, какими мы хотим их видеть, думающими то, что мы хотим, чтобы они думали. Мы убеждаем самих себя, и довольно легко: ложь лучше для детей, чем правда. Мы даже не ищем оправдания этой лжи, лжем просто для убедительности.

Хуже того, мы нечестны сами с собой в отношении наших страхов, слабостей, предрассудков, мотивов поведения. Мы представляем себя детям так, будто мы боги, всемогущие, всезнающие, всегда справедливые и всегда правые. Это хуже любой лжи из того, что мы можем сказать о себе. Я не раз шокировал учителей, говоря им, что, когда ребенок задает мне вопрос, на который я не могу ответить, я признаюсь: «Не имею понятия»; когда ошибаюсь, а такое бывает не так уж редко, говорю: «Кажется, я опять ошибся». А когда я пытаюсь делать то, что плохо умею, например рисовать акварелью или играть на кларнете, то делаю это прямо у них на глазах, чтобы они понимали, что взрослые умеют не всё. Если ребенок просит меня сделать то, что я не хочу делать, я прямо отвечаю, что не буду, потому что не хочу, а не представляю ему длинный перечень «веских» обоснований, достойный Верховного Суда. Если вы скажете ребенку, что не будете делать что-то, потому что не хотите, он, скорее всего, воспримет это как незыблемый факт. Если вы попросите ребенка прекратить делать что-то, потому что это сводит вас с ума, он, вероятно, прекратит без всяких разговоров, поскольку знает, что это такое.

Кроме того, мы нечестны в отношении наших чувств, и это делает атмосферу во многих школах такой неприятной. Люди, которые пишут книги, и учителя, которые их читают, повторяют снова и снова, что педагог должен любить всех детей в классе одинаково. Если при этом понимается, что педагог должен делать все, что только может, для каждого ученика в классе, что он несет равную ответственность за благополучие каждого, одинаково заботится о решении их проблем, то эти люди правы. Но под словом «любить» они подразумевают не это. Они имеют в виду чувства, привязанность, удовольствие одного человека быть в компании другого. А это не то, что можно раздавать каждому, отмеряя чайными ложками, чтобы всем досталось поровну.

Обсуждая этот вопрос на лекции перед студентами, я однажды сказал, что люблю некоторых детей в моем классе больше, чем остальных, и не скрываю своего предпочтения. В конце концов, дети все равно это чувствуют без всяких слов, так что скрывать свои чувства бесполезно. Естественно, молодые учителя пришли в ужас от моих слов. «Что вы такое говорите! — сказал один. — Я люблю всех детей в моем классе совершенно одинаково». Чепуха. Учитель, утверждающий такое, лжет самому себе и другим и, скорее всего, вообще не любит детей. В этом нет ничего дурного. Многие взрослые не любят детей, и нет особых причин, почему они должны их любить. Однако в том-то и проблема, что они считают, будто *должны* их любить, и в результате у них возникает комплекс вины, а бороться с этим комплексом они начинают тем, что становятся более жестокими по отношению к детям. Иногда этот комплекс порождает у учителей тошнотворно слащавые голос и манеры, фальшивые улыбки. Всё это дети тотчас распознают и начинают ненавидеть в учителе.

Поскольку мы нечестны с детьми, тем самым мы вызываем у них ответную нечестность. Начнем с того, что мы требуем от них участия во всеобщей фикации, будто школа — это замечательное место и дети счастливы каждую минуту, проведенную в ее стенах. Они рано начинают понимать, что о своей нелюбви к школе нельзя не только говорить, но и думать. Роберт Хейнеман, работавший над этой проблемой несколько лет, установил, что детей шокирует больше всего тот факт, что они не могут выразить или даже хоть как-то проявить страх и ненависть, которые вызывают у них школа и учителя. В ситуациях, когда они могли свободно выражать эти чувства самим себе и другим, отношение детей к учебе улучшалось. Почему мы не можем говорить детям то, что я обычно говорю своим пятиклассникам: «Закон гласит, что ты должен ходить в школу, но в законе ничего не сказано о том, что ты должен любить школу или своего учителя»? После этих слов многие дети начинают терпимее относиться к школе.

Дети постоянно слышат: «Хорошие люди не должны говорить таких вещей». Они рано начинают понимать, что по большей части они не должны говорить о том, что думают и чувствуют, чем интересуются, о чем заботятся и волнуются. Редко кто из детей встречает такого взрослого, с которым он может говорить открыто обо всем, что его интересует. Единственное место, где любой человек может свободно говорить обо всем, что его волнует — это приемная психиатра, и многие богатые люди посылают туда своих детей. Но должны ли мы отнимать время у высококвалифицированного специалиста, чтобы тот выслушал все то, что немного раньше ребенок мог охотно рассказать любому, кто готов был с участием выслушать его? Специалисты из Кэмбриджского университета установили, что возможность открыто рассказать о себе и своей жизни человеку, который выслушает и не осудит, которого интересует существо человека, а не его проблемы и пути их решения, может существенно изменить жизнь малолетнего преступника. Неужели мы не извлечем из этого урок для себя? Неужели нужно ждать, пока ребенок попадет в трудную ситуацию, чтобы дать ему возможность высказаться обо всем, что он думает?

Вскоре я понял, что это хоть и проблема, но не главная. Спустя пять лет, в разгар либеральной и прогрессивной революции в школьном образовании, Чарльз Сильберман с большой группой исследователей посетил сотни школ по всей стране. То, что они обнаружили почти во всех школах, Сильберман назвал «пугающей нецивилизованностью» по отношению к детям со стороны почти всех взрослых в школе.

*Кроме того, все еще нередки случаи открытой физической жестокости по отношению к детям, главным образом маленьким. Ада Маурер, редактор одного педагогического журнала, провела недавно обследование школ, чтобы выявить, сколько детей формально и официально подверглось побоям за год. Даже с учетом того, что не все школы сообщили о таких фактах, цифра получилась ужасающая — **полтора миллиона** случаев за год. Но эти побои, которые школы предпочитают называть «телесными наказаниями», хотя нередко маленькие жертвы таких наказаний попадают в больницу, — лишь*

официальная статистика, зафиксированная в школьных журналах, неофициального насилия — шлепков, тычков, выволочек, выворачивания рук, дерганий за уши, щипков, ударов кулаком — просто невозможно сосчитать. Наверняка цифра как минимум удвоится или утроится. Распространены случаи телесного наказания всего класса за провинность, совершенную одним или двумя учениками, или просто за низкие показатели класса в очередном тесте. Один учитель устроил в классе поголовное телесное наказание в первый же день занятий, «чтобы знали, что их ждет».

В каждом примере физической жестокости неизменно содержится ментальная и духовная жестокость — то, что профессор Артур Перл назвал «церемонией унижения». Все это начинается в младших классах, когда дети еще доверяют учителям и уж во всяком случае не способны нанести им физический ущерб. Примеров хватило бы не на одну книгу.

Нет, главная проблема не в фальшивых улыбках и бессмысленных похвалах. Она гораздо серьезнее. Это широко распространенная нелюбовь, недоверие и боязнь детей, причем настолько сильные, что в сумме близки к понятию «ненависть». Поскольку корни этих чувств кроются в нашей незащищенности, слабости и нашем страхе, трудно сказать, как эти чувства можно легко и быстро преодолеть, в особенности если их разделяет и все общество в целом.

Разумеется, есть учителя, которые любят и уважают детей, доверяют им, но таких меньшинство. Многие из них через несколько лет покидают школу сами, иных увольняют. Причина понятна: если ты любишь детей, тебе невыносимо проводить большую часть своего времени среди людей, которые их не любят. Разумеется, этот аспект статистика не учитывает. Как такое может быть? Допустимо ли рассылать учителям анкету с вопросом: «Вы ненавидите детей?» Конечно, нет. Но косвенными свидетельствами служат отчеты, доклады и просто письма учеников, родителей, учителей-практикантов и учителей с большим стажем, просто людей, которые так или иначе связаны со школой. Увы, такие сообщения не исключение, а скорее правило. Физическое и духовное насилие над детьми в школах если не единственная, то, во всяком случае, основная причина, порождающая детские правонарушения, которые так распространены в наших школах.

За всем, что мы делаем в школе, лежат определенные идеи, которые можно приближенно представить в следующем виде. 1. Из всей массы человеческих знаний лишь небольшую часть можно считать существенной, которую необходимо знать всем. 2. Пределы, в которых человек может считаться образованным и подготовленным к жизни в современном обществе, зависят от количества этих существенных знаний, которыми он обладает. 3. Ответственность за то, чтобы дети имели в своем багаже как можно больше таких знаний, лежит на школе. Таким образом, мы должны буквально «затолкать им в глотку» определенные факты и идеи, даже если их больше интересуют знания в другой области.

Эти идеи — абсурдный нонсенс. Мы не начнем реального образования в школе до тех пор, пока не откажемся от этой чепухи. Школа должна быть местом, где дети изучают то, что они больше всего хотят знать. Ребенок, изучающий то, что ему интересно, запоминает это и использует впоследствии, тогда как ребенок, который учит то, что нравится кому-то другому, быстро забывает свое знание, фактически после ближайшего теста. После школы дети забывают большую часть из приобретенных за партой знаний. Они считают эти знания неинтересными и бесполезными. Единственная разница между плохими и хорошими учениками состоит в том, что плохой ученик забывает все сразу, а хороший — после того как сдаст экзамен. Если так рассуждать, мы можем сразу отбросить большую часть того, чему учим, поскольку дети все равно сами отбросят это.

Понятие учебной программы абсурдно, даже если бы дети помнили все, чему мы их учим. Дело в том, что мы не можем прийти к единому мнению, какие знания следует отнести к существенным (а значит, включить в программу), а какие нет. Каждый человек, обладающий специальными знаниями в той или иной области, считает, что эти знания должны быть включены в программу. В классических школах требуют ввести обучение греческому и латинскому языкам. Историки требуют более глубокого изучения истории, ученые — физики и т. д. Языковеды и лингвисты требуют, чтобы дети знали французский, испанский или русский языки. Каждый понимает, что за этим стоит: как только спрос на те или иные специальные знания возрастет, возрастет соответственно и цена, которую человеку придется платить за приобретение этих знаний после школы. Кто выиграет в этой борьбе за программу и кто проиграет, зависит не от реальных потребностей детей или даже общества, а от того, кто грамотнее поставит рекламную кампанию своей специализации, у кого более мощное лобби, кто лучше сумеет сколотить капитал на событиях, не имеющих ничего общего с образованием.

Идея учебной программы порочна не только потому, что мы не можем договориться друг с другом о ее составе, жизнь сама вносит коррективы. Беда в том, что большинство из того, что ребенок учит в школе, спустя несколько лет подвергается ревизии и объявляется неверным. Я изучал физику в школе по современным на то время учебникам, где говорилось, что фундаментальным законом физики является закон сохранения материи — она не создается и не уничтожается. Мне пришлось поставить крест на этом знании еще до окончания школы. В колледже меня учили многим экономическим истинам, которые уже отвергнуты современной экономикой. Ребенок, который запомнит все, чему его учили в школе, обречен жить в мире мифов и заблуждений.

Увы, мы не можем судить о том, какие знания больше всего понадобятся через сорок, двадцать и даже десять лет. В колледже я учил латынь и французский, и преподаватели считали, что это самые нужные языки. Но теперь я чувствую, что было бы больше пользы, если бы я учил испанский или, еще лучше, русский. Сейчас во многих школах изучают русский язык, но не окажется ли через десять лет, что лучше было учить китайский или хинди?

Помимо физики я изучал химию, но теперь уверен, что лучше бы вместо нее нам преподавали биологию или экологию. Мы постоянно ощущаем нехватку экспертов только лишь потому, что в недавнем прошлом учили не то, что нужно было. Но и сейчас все остается по-прежнему, да и в будущем ничего не изменится, поскольку мы не можем знать наперед, какие знания будут востребованы и какие нет, а учить что-либо «впрок» — бессмысленное занятие. Вместо этого мы должны вырастить из них людей, которые любят учиться и будут способны научиться тому, чему будет нужно.

Откуда мы можем знать, что одна область знаний важнее и более «существенна», чем другая? Ребенку, который хочет научиться тому, чему школа не хочет учить его, лучше сказать, чтобы он не тратил понапрасну время. Но как мы можем утверждать, что то, что он хочет знать, менее важно, чем то, чему мы хотим его научить? Мы должны определить, какова сумма знаний, которую любой ученик может усвоить к концу обучения в школе. Но в пределах этой суммы выделить важное и неважное невозможно. Наши социальные, национальные и иного рода проблемы обусловлены не тем, что у нас мало экспертов, которые могли бы сказать нам, что и как делать, а тем, что мы не делаем и не будем делать то, что необходимо делать сегодня.

Один из моих самых способных и смелых пятиклассников глубоко интересовался змеями. Он знал о змеях больше, чем любой из моих знакомых. Но в школе нет места серпентологии, змеи не входят в программу обучения. И все же я был убежден, что всякое время, которое он тратил на изучение змей, проведено лучше, чем я бы мог предложить ему, с большей пользой, чем его одноклассниками, которые вообще ничем не интересуются. В другом пятом классе на уроке истории Древнего Рима один мальчик читал научную книгу, пряча ее под партой. Учительница заметила это и отобрала книгу. Она отняла этим у него целый час заинтересованного изучения науки во имя тех знаний из истории, которые ему не потребуются и которые он вскоре забудет.

Дело не в том, какой предмет изучается, а в том, как он преподается. Если ребенок учится, как и все остальные дети во всех остальных школах — «глочет» слова учителя и «выплевывает» их обратно в виде ответа на контрольный вопрос, — он попусту тратит время, то есть мы попусту тратим его время. Такое обучение не принесет пользы. Ребенок, изучающий что-то естественным образом, следуя туда, куда ведет его любопытство, и смело отвергая то знание, в котором он не нуждается, быстро растет умственно, повышает свою способность к восприятию знаний. Такой ребенок на верном пути к тому, чтобы стать полноценным членом общества, человеком, который ищет и находит смысл, истину и радость во всем, что он делает. Всю свою жизнь он будет чему-нибудь учиться, совершенствуя свою собственную модель реального мира, приближая ее к действительности. Это даст ему возможность занять куда более реалистическую и конструктивную позицию в жизни.

Мы не можем сколько-нибудь улучшить образование в школе до тех пор, пока думаем, что наш долг и наше право говорить детям только то, что они должны знать. Только сам ребенок может знать, какая именно толика знаний

нужна ему в каждый конкретный момент больше всего, подходит к его модели реальности лучше всего. Он может заблуждаться, но все равно сделает свой выбор куда лучше, чем этот выбор сделаем за него мы. Все, что мы можем, — это оказать ему посильную помощь, поделившись своими знаниями и подсказав, где можно найти более исчерпывающие и подробные сведения. Выбор он должен сделать сам.

Есть и еще одна причина, возможно самая важная, почему мы не должны превращать школу и класс в место, где дети все время делают только то, что говорят им делать взрослые. заключается она в том, что ребенка нельзя заставить, не заставив при этом бояться. И не стоит заблуждаться на этот счет. Те, кто влияет на общественное школьное образование в стране, этого не понимают. Они говорят и пишут, а значит и думают, что есть хорошие пути и плохие пути к принуждению детей (плохие — жестокость, хорошие — убеждение), и если избегать плохих методов и сосредоточиться на хороших, большого вреда не будет. Это одно из величайших заблуждений и причина того, что революция в области образования так и не произошла.

Идея мягкого, безболезненного принуждения иллюзорна. Страх и принуждение неразделимы. Страх — неизбежное следствие принуждения. Если вы думаете, что ваш долг заставлять детей делать то, что вы хотите, за этим неумолимо следует страх — что может произойти, если они не послушаются вас. Вы можете подойти к делу на старый манер — высказать открытую угрозу в относительно грубых словах, ограничить их свободу или даже наказать физически. А можете сделать это на новый манер — мягко, спокойно, отказывая в одобрении, к которому вы и другие взрослые их приучили, или дав им почувствовать, что в будущем их ждет определенное возмездие — туманное, но неотвратимое. Вы можете научиться, как это делают опытные учителя, бить словом, жестом, взглядом и даже улыбкой — огромные возможности, чтобы вызвать страх, стыд, чувство вины, с которыми постоянно живут нынешние школьники. Так дети начнут лучше понимать, что жизнь полна опасностей, от которых защитить их может только добрая воля взрослых, таких, как вы, и что эту добрую волю им нужно зарабатывать каждый день.

Единственная альтернатива — другой я не вижу — иметь школы, в которых каждый ребенок будет иметь возможность своим путем удовлетворять свое любопытство и свой интерес, постигать жизнь во всем ее разнообразии. Иначе говоря, школа должна стать местом интеллектуальной, художественной, творческой и атлетической деятельности, где каждый ребенок получит то, что он хочет, и в таком объеме, в каком пожелает. Когда Энн училась в шестом классе, я обрисовал ей эту идею и спросил: «Как ты думаешь, такое может быть? Узнают ли дети хоть что-нибудь при такой организации учебы?» Она ответила: «О да! Это было бы великолепно!» Помолчав минуту или две, она добавила задумчиво: «Видите ли, детям действительно нравится учиться. Только мы не любим, когда нас заставляют».

Да, не любят, и мы должны быть благодарны им за это. Так давайте же перестанем заставлять и дадим им новый шанс.

Теперь я перестал верить, что школа — подходящее и наилучшее место для свободного обучения. Лучшее для этого место — гуаца жизни. Если мы организуем в каждом районе (возможно, в зданиях бывших школ) центры свободного обучения, клубы с хорошими библиотеками, музыкальными салонами, театрами, спортивными залами, ими смогут пользоваться как взрослые, так и дети. Мы совершаем ужасную ошибку, хотя и из лучших побуждений, отделяя детей от взрослых и от остальной жизни. Наша насущная задача — убрать эти барьеры, которые мы же и поставили.

И все же самые последние слова мне хочется сказать об одной из моих учениц. Энн выгнали из предыдущей школы за безнадежно низкую успеваемость и плохое поведение. Ее родители были достаточно богаты, чтобы нанять лучших экспертов. Согласно их вердикту, девочка совершенно не способна к учебе, у нее явные психические и эмоциональные расстройства. В моем классе с первых же дней она стала одной из самых смелых, энергичных, целеустремленных и в какой-то мере талантливых учениц, став даже лидером в тройке или четверке наиболее многообещающих детей. Хотя она поступила ко мне почти не умея читать, к концу учебного года она уже зачитывалась «Моби Диком». Она выросла интересным и компетентным человеком, добившись к тридцати годам успеха на нескольких поприщах. Она не сломалась и не дала другим сломить себя, свой дух. Мир для нее перестал быть серым и унылым, она нашла в себе силы сделать его ярким и живым. Помочь всем детям прийти к тому же должно стать нашей высшей целью в жизни.

Оглавление

От автора

Предисловие

Глава 1. Стратегия

Глава 2. Страх и неудачи

Глава 3. Обучение всерьез

Глава 4. Недостатки современной школы

Заключение